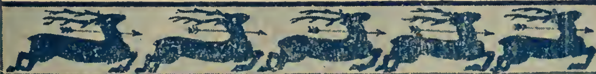
Борис Кундрюцков.

КАЗАК
ИВАН ИЛЬИЧ ГАМОРКИН.



БЕЗХИТРОСТНЫЯ ЗАМЕТКИ О НЕМ, КУМА ЕГО, КОНДРАТА ЕВГРАФОВИЧА КУДРЯВОВА.



БЕЛГРАД.
1930.

Борис Кундрюцков.

КАЗАК

ИВАН ИЛЬИЧ ГАМОРКИН.

Безхитростные заметки о нем кума его
Кондрата Евграфовича Кудрявова.



БЕЛГРАД.
1930.

Обложка работы казака Григория Самойлова.

Исп. М. Г. Ковалевъ. Типографія „Фениксъ“. Бѣлградъ.

КАЗАК

ИВАН ИЛЬИЧ ГАМОРКИН

Безхитростные заметки о нем, кума его, Кондрата Евграфовича Кудрявова.

Был у меня знакомый, Иван Ильич Гаморкин, только, каких станиц и все прочее такое, рассказывать не буду, одним словом, — знакомый, и что самое главное, — жив еще этот самый Иван Ильич.

И все тут...

И был он из настоящих, природных Донских казаков. Куда его ни верни — казак, сбоку ежели забежишь полюбоваться — казак, со стороны и в лоб — то-жь. Тьфу, думаю, и что за человек, откуда ни подкрадись, казачьим духом так и прет, так и прет. И стал я в те поры от него уму-разуму набираться и о казачестве толковать.

Бывало работаешь целый день, а потом развалишься на соломе — слушаешь Гаморкина. А Иван Ильич, как станет говорить, — так только на ус крути. Пожилой, бывалый казак, ну прямо, и то и се...

— Первейшие люди у Бога — казаки: я, положим, и ты, Кондрат Евграфыч. А расскажу я табе одну историческую справку, вроде, слыхал я ее будучи каптенармусом в действительной службе. Да што и говорить, и я историю превзошел и какого там, иногороднего историка, могу в угол загнать. Вот послушай — сперваначалу было так... Мир, как ты знаешь, был создан из ничего. Понимаешь — из ничего!

И тут, приподнимаясь на локте, Иван Ильич шевелил пальцами, будто пытаясь что-то ухватить, шепотом повторял: так таки из ничего.

— Скажем, ни тебя, ни Серка (собака Ивана Ильича), ни букашек никаких не существовало... А Дон-батюшка седой, в зародыше был и казаки ешшо вокруг его муравьями ползали...

— Так как же, Ильич? — перебил я, — ведь ничего же не было?

— Мы-то? — удивлялся Гаморкин, — казаки-то? Ну, брат, шалишь. Мы-то ешшо в раю были, в проекте, так сказать, и с анделами в шпульку играли. Да што там, — Округ Казачий был в раю! Богатейшая земля, я тебе доложу. Кажную весну сама напухала, лопалась и рассыпалась; которые птицы летающие, возьмут по кульку с зерном, да и засеивают. Так-то вот все и растет само — ровно волосья. Без поливки и без уходу. Растет, как положено... На чем, бишь, я остановился? Да. Ну, и не было мимо зародышей тут, на земле, ничего. И стал Бог творить. С каждым днем все больше и больше. И тварь там, и земля, и свет, и вода, и трава, и степь. А как

создал Донскую Область и пришло время ему на покой иттить, решил записать все што наперед должно случиться. Будущее, так сказать. Призвал тогда к сабе казаков, по одному от кажнаго хутора. Когда же собрались они, говорит: „Так и так, атаманы-молодцы, решил все как будет записать и вам под великою тайною передать — берегите и всем народам не болтайте, а есть вы — первые люди у меня. А што бы не затерялось писание, достаньте живую тварь, на которой наскоблить все на казачьем языке можно бы было, и которая из рода в род вам бы все передавала на сабе“.

Шумели казаки, шумели. Кричали, кричали. Советывались от этих самых слов — не помогаить. Выпили, не помогаить. Запели песни:

„Ой-да ты подуй, подуй!“

Не помогаить. Ешшо выпили — ну, ни одной мало-мальски приличной мыслишки на сей предмет не имеется. Ешшо выпили — темнота в голове, а как хватили ешшо — глупостью эдакой просветление сошло и выдвигается в круг на карачках Пал Сандрыч.

— На бабе написать надо, завсегда прочитаем и запомним. И плодятся они быстро, быстрейше казаков и не каждый против них устоит.

Подумали все — не годится. Во-первых, мало уважения к себе вызывает, во-вторых, не всякому разглядеть можно. Иная кусочек покажет, а все дочитать и не даст. Женись, мол, на Будущем Завете, да и... вообще.

Решили, — того, не подходит живая эта тварь, да и скоблить опасно — на какую наскочишь. Ну, не подходит, словом.

Ходють есаулы, покрикивают, кто какую тварь удумал, вопрошают, што-б без шерсти и не очень опасная была... Шумят...

И бегеть тут Афонька, Грекова Петра Иваныча, сынок. Это не того Петра Иваныча, што до генерала дослужился, нет — не ево, а другой. Бегеть Афонька с Мишкина хутора.

— Пымал, — шумит, — тварь...

Ну, кто вскочил, качаясь от выпитого вина, кто на коленки стал, а кто и головой только мотнул хмельной — загомонили все:

— Пымали. Пымали, раз-этакую...

— Иде, Афоня, пымал?

— Возли ерика пымал... Перебрел, стало быть, колено, к ерику иду, а он от мине... Я за ней... Она от мине... Но тут пришли вовсе ей концы...

Протянул Афонька сжатый кулак, в кулаке — ящер, язычек кажется и вообще жидкость из себе пущаить...

Поднесли тварь и стал Бог над нею стараться. Прежде у нее спина была в один цвет выкрашена, а тут проскабливается светлый, ежели смочить, поплевать, скажем... Расписался, значится... Пишет час, другой, третій... а наши выпивают и песни играют...

Афонька-ж глядит, не дышит. За плечом примостился, ну, прямо, сопли некогда вытереть. Чем дальше подсматривает, подлец, тем ему страшней и жутче... Тайна, вить, какая открывается... Читаить Афонька по складам — глаза таращит. Бьется сердце, ах, как бьется у нево... Все-то на спинке прочитать можно, и как, и вообще, што произойти должно, и как все обернется, каким, значит, образом... Увлекся казаченок, а наши выпивают и песни игра-

ют... Разбираить Афонька:

...казаки-ж Донские имеють особое назначение... А назначение сие, в том состоить, што...

Тут Гаморкин остановился и торжественно смотрит на меня. В его взгляде, горящем неподдельным вдохновением, мне кажется немой вопрос: интересно? Потом он медленно-медленно расправляет усы и продолжает:

— Добрался Афонька до того, што было самое расчудесное в той записи, да ка-ак ахнет...

— Ть-ю... — ахнет... Неожиданно так, как пистолет. Испугал тварь-то. Те, которые Усть-Медведицкие — ничего... Пьют и песни играють... Ну, а низовые — кто как... Бегуть... — кто на двух ногах, кто на четвереньках, а кто и на животе, ползком, во все стороны — ловят ящерку... Увивается она промеж казаков. А на спине-то невысохшее еще... Путаются и буквы и слова. А тут ешшо Пал Сандрыч на хвост наступил. Оторвался хвост и побежал в другую сторону. Когда его ухватили, на хвосте одна точка и восклицательный знак только и стоят. Конец, стало быть...

Воскликнул тут Пал Сандрыч:

— Не иначе, черт безхвостый, в сусликову нору ушла. У бабы хвост не оторвался-б, шалишь...

Кто на двух ногах, кто на четвереньках...

Поймали какую-то ящерку, оказалась — с хвостом. У ней тоже проступили на спине какие-то знаки, малопонятные — никто ничего не разберет.

Обернулись — кругом никого нет. Кто-ж его догадается, што написано.

— Афоньку найтить, — сказал кто-й-то.

Пал Сандрыч на землю прилег, в сусликову нору всматривается.

— Не видать, — говорит, — ни ящерки, ни Афоньки с Мишкина хутора.

Однако-ж, разыскался Афонька. Только ничего добиться от него нельзя было: с перепугу от Божьего гнева, язык отнялся и в разуме помутнение вышло...

Иван Ильч лукаво улыбается — понял, мол, иль нет. Я не спорю, так как спорить безполезно, довольствуюсь тем, что равнодушно говорю;

— Значит будущее от нас, казаков, скрыто?

— Навек...

— Но будущее, надо предполагать, такое хорошее?

— Во-во... Громкое. Даже Афонька от волнениев с ума спятил.

— Ну это еще ничего не доказывает.

— А ящер?

— Что ящер?

— Ящер убежал, вить?

— Убежал...

— И письмена на ем есть. Откудова тогда ети письмена?

— Какие же то письмена? То природа разукрасила.

— А природа не Богом создана?

— Богом.

— То-то вот и оно...

Гаморкин довольно крякает и, отвернувшись от меня, устраивается вздремнуть в обеденный перерыв. Так мы работаем уже неделю. Каждый день на пай выезжаем. Мне хоть и

нарезали тоже пай, но я его в аренду сдал, а жил пока и работал у Ивана Ильича...

В часы отдыха ведем мы с Гаморкиным замечательные разговоры. Свела нас судьба случайно; сошлись казак Гаморкин, да казак Кудрявов и пошла у них друг к другу рости привязанность. Все связываемся и связываемся этаким калмыцким узлом...

Теперь, пожалуй, нас ни водой не разольешь, ни мечом не разрубишь; сам черт не разъединит наши души...

. . . .

В этот день Иван Ильич часто задумывался.

Не слыхал даже, как я, воды напившись, цыгарку скутил и под воз умостился...

— Что-то ты невесел нынче Ильич? — сказал я.

Была у него манера старыми казачьями поговорками отвечать. Усмѣхнулся пренебрежительно, по потной бритой головѣ провел ладошкой и ответствовал.

— Кто язык развязал, — шашку в ножны вложил.

— На кого-же тебе с шашкой сейчас наскакивать?

Лениво прошевелил я языком — усталость давала себя чувствовать...

— С шашкой, ни с шашкой, а человек я — казак общеизвестный, во всей земле Донской прогремел, можно сказать... Не пригоже мне слова пустые выговаривать...

— Не в духах? — спрашиваю.

— Раздумываю на всяческие исторические темы.

— А позвольте узнать — льщу ему грубо — о какой-такой материи раздумываете?

— Да материя известно какая: обчественные казачьи дела-с...

Вот ты маракуй, Кондрат Евграфыч... Перемысли такое обстоятельство. Нет у мене маманьки, Царствие ей Небесное, живу с батяней, а иной раз все так и вспоминается, как наша полная семейная жизньюшка текла. Как быдто сычас ето все было...

Выпьет это мой отец, Илья Өомич, малую толику, да на маманьку и наскочит...

— Ты меня не слухаться? — говорит и почнет бить ее по всевозможниим местам, а она смеется и в пущее бешенство его вводит. Уж я большой был и сидел, помню, с пьяным отцем в курене. Напился он, и-и-и-и, здорово!... Кур хворостиной по леваде гонял, што-б, ровно голуби на небеса летели... Потом, значится, за меня принялся. Маманька, в те-поры в станицу по делам ушла, а он меня и поймал, да и стал рассказывать... И спьяну, заметь, а интересно, быдто сказка...

— Я, Ванюшка, твою мать бью на... мифологическом основании...

Враз меня заинтересовал.

Што-й-то я ел, да так с открытым хаволом и остался... Сгреб айданчики, в карман уложил, сачку в другой. Айданчиков у меня была тьма-а. Все сачкой наиграл, она у меня была чи-ижолая от свинчатки-то и в синюю краску выкрашена. Хороша-а-а...

— Дальше то что, Ильич?

— Дальше? — с сожалением отрываясь от воспоминаний, с мечтательными глазами тянет Гаморкин — дальше, поднял папанька

брови, да как бабахнет по столу кулаком... От такого сильного вступления я ешшо больше заинтересовался и мурашки даже у меня поползли по спине, стал я весь — слух и внимание...

Дед, мол, мне, Ивашка, сказывал, Ѳома Ѳомич... Въ древности, значится, была степь и Дон текёть по ней... Текёть и текёть... В теперы казаки по миру шатались конными и место сабе подходяшшее искали — где-бы приткнуться?

И шел, яко-бы, с кибиткой при девяти конях, распра-прадед наш Силетий Гаморкин. Сказывали, напоследках, он до святых дослужился и стал мучеником за веру. Идет Силетий и с ним стремя в стремя — сват его Гаврил Яковлевич Араканец. Только с гор сошли, в степь взошли — говорит Силетий:

— А, што, сват, не устроиться ли нам на ровном месте?

— Отчего-же... — отвечает Араканец — можно... И к тому-ж все видать — кто и как... Чи сзади, чи спереду... К тому-ж — река и имя ей Амазоний... (Это Дон наш так ране прозывался).

Подняли крик.

— Атаманы-молодцы, не пора ли нам на этом месте присосаться?

Собрались все и стали станом. Кто вверх пошел, по реке поднялся, кто по речушкам запольным и иным прилаживается на житье... Народ там уже какой-то жил — высококультурнай... Ничего сабе — вежливый... Потеснился, а потом и совсем исчез. Кой-какие штуки переняли, еленя в Войсковую печать вставили. Ничего — живем... Баб только нет... А

иначе культура высокая: землю поделили, табуны водим, рыбу ловим, набеги правим — все честь-честью... — культура!... А баб нет... Што за притча такая? Поймали одного.

— Ты кто?

— Скиф.

— Здорово приятно... Дозвольте станичник за ручку подержаться... Скажи-ка, любезнай, иде бабье ваше?

Махнул на восток рукой.

— С царицей ушли...

Переглянулись казаки — што за притча такая?

— Зачем?

Хотел он што-то ответить, только слышим, труба играить и в степи пыль столбом стоит. Конечно, все к валам кинулись. Тут Силетию его-ж конь в переполохе копытом на мозоль наступил. Хотел распра-прадед наш крикнуть, а уже сват его орет благим матом.

— Мать твою за ногу... Жены приехали...

Смотрят казаки — действительно, тысяч несколько бабья прискакало. Лихо это так выглядають... Волосья у них развеваются. Шкуры висят и все прочие причиндалы — все как есть, на своем месте... Силетий тут и закричал:

— Станичники-и, разбирай!

А передняя, стройная, да красивая, вылетела наперед на караковом жеребце, Царица, значит, Кондрат Евграфыч, руку ввысь подняла.

— Што, за народ в мою страну прекрасную влип?!

— Казаки, — галдят наши.

— А государство ваше?

— Казакия.

Засверкала глазищами, под ними коричневые круги, пылью запорошенные, а зеньки — так и жгут, так и жгут.

— Иде-ж оно?

— А где станем, там наш и Присуд Казачий.

Но тут к ней Силетий подошел, перевел разговор на другую сторону. Так, мол, и так...

— В этом округе, я — Окружной Атаман и сойти вам с коняшки не угодно-ли? К тому же казачек у нас вовсе нет... Не плодимся и не размножаемся в этих местах. Народу же Казачьяго — четыре тышши двести семь человечков. С твоими мужичками таперь до десяти тышченок набегит.

Как глянула она на него... Как вздыбит коня...

— А-а-а. Захватчики!...

— А и не правда, отвечают ей, хозяйками ушли, хозяйками и будете.

Тут и ее конь Силетию на мозоль наступил... Вскинулась она опять.

— Што-б это я мушчине покорилась?... Да ни в жисть такому сраму не бывать...

Как стебанет Окружного Атамана плетюганом через лоб, Силетия, значит.

Свернулся распра-прадед наш калачиком, глаза у него чуть не выскочили...

— Так, — взвыл он, — дык так? Добре; хватай, — командует, — не мытьем, так катаньем. Урра-а-а!

Начали казаки девок ловить. А те, подлюги, до убийства дошли — обороняются.

Сват Гаврил Яковлевич Араканец одну рыжую присмотрел, расслышал что ее подруженьки в жарком бою, Лисиппой кличат — попёр к ней... Она его решительного вида испужалась и кинулась наутек. А он за ней в догон пошел. Идет и взывает.

— Лисиппа, Лисиппа... Куды-ы-ж ты? Я тебе научу сковородки мыть.

Што бою было... Четыре дня бились... К концу Силетий, а он Царицу себе завоевывал, у нас-то Гаморкиных — губа не дура, весь опух и на руках ходил мозолями в небо — но все-ж таки ожанился на ей... Ху-у... Ужасные времена. Допотопные, можно сказать, страхи!...

Стало Казачьего Народа вдвое более прежнего.

Только... всегда, как значится к супружеским обязанностям, или там к чему нибудь иному подступать приходится, завсегда сперва началу надо за патлы потаскать и в полное безсилие привести. Упорные были — прямо чудеса. Теперь-то вроде нечего — образовалось все и в норму вошло. Да-а, Ивашка. Таки-то дела, — бывало скажет с сокрушением отец мой.

— За то и бью матку твою. Много в ней, этого-самого, мифологического осталось. Никак к Казачьему обычаю не привыкнет. А через Царицу Скифскую распра-прадед наш Силетий Гаморкин и в мученики попал.

— Могеть это все и правда? — изподлобья установился на меня Иван Ильич, а когда я, услышав в его тоне полу-вопрос, открыл рот, он сурово и внушительно добавил.

— Отец мой с пьяных глаз, завсегда истину говорил.

. . . .

Когда кончилась первая страдная пора, пошли мы по одному делу в столицу нашу — Новочеркасск. Дело было пустячное и что было досадно, это то, что кони были заняты и пришлось нам по жаре плестись пешком.

В дороге увязался за нами попутчик.

— Здрасьте, отцы. Дозвольте за компанию? Не в Черкасск ли идете?

— Да. А ты то сам кто будешь? — замедляя шаги, проговорил Граморкин. Казачек, что за нами увязался, нес сапоги за плечами, ступая босыми ногами по пыльной змеей вьющейся дороге, был высоко роста, худой очень, к тому-же с длинным носом. На лбу у него от снятой фуражки обозначился багровый обруч и пыльные шаровары с пыльными же, косо к низу срезанными, лампасами сбились к завязкам.

— Я-то?

— Ты-то... — сказал Иан Ильич, — каких станиц?

Казачишка уныло покачал головой.

— Мы-то? Елизаветинские.

— Видать... шмыгнул носом знаменитый Гаморкин: — Ну, в Н-ой бывал? — назвал Иван Ильич свою станицу.

— А как-же, бывал.

— А Гаморкина, Ивана Ильича знаешь?

Видел я, что страх как хочется Гаморкину покичиться предо мной своей известностью. С плохо скрываемым любопытством нетерпеливо ожидаем был им ответ.

Казачишка поднял брови. Серые глаза его стали задумчивыми и в них промелькнула даже тень напряжения. Видно было, что он не знал, что ответить на столь прямой вопрос, боясь попасть в просак.

— Гаморкин?

— Ну-да. Иван Ильич...

— Иван Ильич?

— Да, да. Тот, который каптенармусом в действительную служил...

Явно уже хотел помочь Гаморкин, но казак мотал головой.

— Каптенармусом? Г-м. Не з-знаю, не слыхал... г-м... г-м... мычал казачек.

Тут Иван Ильич, взглянул на меня. Досадливые его глаза уловили деланно сосредоточенное выражение на моем лице, он что-то поняв в нем, вдруг осерчал.

— Ну и темнота-ж у вас!

— У нас-то?

— У вас, што-б вас... г-м, г-м.

— Простите, дяинька, не знаем такого. Иль-юу Иль-ича Гаморкина-а?

Иван Ильич насилу сдержался и, стараясь говорить насмешливо и саркастически улыбаясь (для меня), поправил:

— Да не Илью Ильича, куриная твоя голова, не Илью Ильича, а Ивана Ильича.

Казачек тоскливо посмотрел в степь и не выдержал:

— Да ну его, дяинька, к чертовой матери!

— Кого? — испуганный неожиданностью переспросил Гаморкин, теряя весь свой апломб и амбицию.

— Его-то.

— Это кого?
— Ивана Ильича.
— Какого Ивана Ильича? — не веря своим ушам, все более разгорячаясь, уже кричал Ильич.
— Да его-то. Ну, там скажем, Гаморкина.
— Гаморкина?
— Гаморкина. Што-б ему ни дна ни покрышки не было.
Иван Ильич даже растерялся от этих слов.
— Ни дна, говоришь?
— Да-а, и ни покрышки.
— Ни покрышки? — изумился Гаморкин и дотронулся до кудластой своей папашенки,
— Ну, брат, это ты того... Сильно очень...
А казаченка расходился совсем. Я же поспешил отвернуться.
— Ешшо-бы, таперь я вспоминаю, про какого Гаморкина вы говорить изволили... Ентот, который ка-аптенармус? Ды-к его же уся станица наша, Елизаветинская знаить. Ен же...
Тут Гаморкин моментально забеспокоился.
— Это не тот.
— То-от, то-от, — уверял повеселевший казаченок — тот... Ен хвасоль крал, да у сабе в чихауз складал. Станицы-то он? Эх, дай Бог память... Какой же это он станицы? Знал вить, да забыл...
— Да што ты, — волновался Гаморкин, — такъ вить ен совсем и без усякой станицы.
— Без станицы? Как же так. Как-же это человек без станицы могёть быть? Знаем мы его прохвоста.
— Да он иногородний, из под Царицына.

— Иде там — Царицына, не-е казак. Самый настоящий казак. Эге-ге-ге, вспомнил — Иван Ильич Гаморкин, станицы он будет...

Капли пота выступили у Гаморкина на лбу. Не выдержала казачья душа.

— Ху-у, да и едкие же вы Елизааветинские.

— Мы-то?

— Вы-то...

— Ето вы, дяинька, поклеп взводите, о Гаморкине усякая собака знаить. Однажды, помню, идем мы с батяней, навстречу нам Гаморкин. Задержали коней.

— Драсьте вам.

— Драсьте, — отвечает Гаморкин, — разрешите вас пригласить станичники хорошие, к Персиянихе, я свое рождение справляю третий день.

— Што-ж, отец мой, — отвечает, — зайдем, двум смертям не бывать!

Зашли в корчму.

— Вино есть от Пухляковскаго винограду?

— Есть. Извольте-с.

— А поесть?

— Тоже есть.

Тут ето Гаморкин к хозяйке.

— А бумага, пытает, у вас есть?

— Для чего, спрашивает хозяйка, ежели што, то и травкой можно.

— Нет, отвечает Гаморкин, мне бумага не затем нужна...

Болтает казаченок, глаза у него блестят. Иван Ильич шел рядом, повеся голову и с таким покорным видом слушал рассказ о самом себе, что и мне жалко его стало.

— А мы с батяней спрашивали его: „Зачем вам, станичник, бумажка нужна? Ежели што?...“

А Гаморкин опять к хозяйке.

— А марка семи-копеечная у вас есть?

— Для чего? — спрашивает хозяйка. — Ежели вы собирать изволите, то у моего мальца иде-то египетская есть.

— Нет, отвечает Гаморкин, здешней, почты. Хочу писать письмо ко всему Великому Войску Донскому.

— О чем? — удивились мы с батяней, и зачем усех безпокоить своими письмами?

— О чем? А о том, што армяшки из Нахичевани по Области, как клопы во все стороны ползуть, и покою от них казаку нет. Не пора ли их на Кавказ обратно водворить?

А в углу, надо вам сказать, сидел Бабаянц Абадила. Взмолился он тонким голосом.

— Пожалэй, просит, Эван Эльичь. Куды моя пошла тэпэрь, послэ твоэй писма?

— А пошла твоя в Тыфлыс, на рэка Кура, — кричит Гаморкин. Хитрый и продувной казачина. Задел армяшку за живое, видать с умыслом...

— Нэ сырчай, дюша мой. Я тэбэ вином угощу.

А подлец Гаморкин хоть бы глазом моргнул. (Иван Ильич поморщился). Даже бровью не повел.

— Нет, — отвечает, — с Нахичеванью вам срок пришел распрощаться. На Казачьей земле Арийского или Прометейского племени не потерплю.

Что нам, уговаривая Гаморкина, армянин вина понастановил, и что мы его попили —

ужас. Тьму. Видимо и невидимо. Вот ето справили Гаморкинское рождение, так справили. Под конец, он упился и армянам жить вообще разрешил, только не в Нахичевани, а в Одессе. Все мы тогда развеселились. Ешшо казаков подошло — знакомцы усе, а Гаморкин к хозяйке:

— Девочки у вас есть?

— А для чего, — спрашивает, — ежели етого-прочаго, то наша станица высоконравственная, а ежели, для того самого — то найдется.

— Для того самого.

Но тут казаки Гаморкина уговорили без „того самого", и Кавказско-Нахичиванского человека к хозяйке за великую ея мольбу и отпускное пустили. По сему случаю с час корчма без хозяйки была. Потом нашелся новый хозяин в лице нашего армянина и вступил в свои обязанности.

— Я, — говорит, — ни в Нахичевань, ни в Адэссу не поеду, а как я есть армэнын и казачэство лублу, то астаюсь в названной станицэ при вдовэ Екатэрыне Васыльэвне Пэрсыяныхе.

Гаморкин хотел и ето в письмо занести, как разительный пример засорения Казачества чужим алиментом, да армянин ешшо вина поставил.

Там же етот Гаморкин с кавказским человеком страх как подружился и заночевал у него. А мы — по знакомцам пошли. По сабе. Так как-же я его не знаю. Хитрюшший такой, што лиса. Пропал потом и армянин, и корчма писчебумажная.

Вдали загорелся Черкасский собор свом-- золотым куполом. Кривянка разрослась в ширину, в зелени вся, вся то из белых низеньких куреней.

Взглянул Гаморкин на выглянувшее солнце, на меня поглядел, потом на казаченка, какот так приосанился.

— Ну, будя. Много, ты, станица, языком бил. Погляди-кась на мине вострейше.

Казачек глянул, и... побледнел.

— Признал? — гаркнул Гаморкин во весь свой степной голос. — Я табе, сукина сына, вином ешшо поил... А?

Казаченок тут юркнул в чей-то садок, замелькал между постройками, только мы его и видывали.

— Ишь, — самодовольно усмехнулся Иван Ильич, — ишь. Вот он Кондрат Евграфыч, какой мне почет и уважение. Признал пострел меня. Враз, можно сказать, признал.

. . . .

Надо вам сказать Иван Ильич, жил и работал все время с отцом, вернее за отца. Молодым, как-то так вышло, жениться ему не пришлось. Когда я его спрашивал почему? — он многозначительно говаривал.

— За двумя зайцами погонишься, — ни одного не поймаешь.

Но кто были эти „зайцы", как можно было бы предположить, женского пола, он не говорил.

Хоть и было упущено время, но думка иметь хозяйку-казачку, повидимому не покидала Ивана Ильича. Часто он о чем-то мечтал и не обращал на меня в такие дни ника-

кого внимания, даже не заходил ко мне, в летнюю кухню. Задумывал и я строиться в ту пору и осесть навсегда в станице, наперекор батюшке и матушке, которые давно уже из Новочеркасска перебрались в Каменскую. Не хотелось мне отрываться от земли. К тому же мне обещал свою помощь Иван Ильич, а это лето выдалось урожайное и мы слегка забогатели с ним. Все складывалось по хорошему, даже осень подступила замечательная, с удивительно мягкой и приятной погодой, но грустные настроения не оставляли Гаморкина и начали уже и меня беспокоить. Зачем-то уходил к девкам. И вообще, что-то замышлял, видимо, он.

Скоро это все разъяснилось.

Под вечерок, вошел он радостный, таким фертом, ко мне, стал по середине и говорит.

— Ну, Евграфыч, венчаюсь я.

— С чего? — спрашиваю, делая удивленное лицо.

— На мед потянуло. Да, говорять, и война опять близко. Девку сыскал славную, с соседнего хутора. Прозывается Настасья, а по батюшке — Петровна. Хошь ни хошь, а на свадьбе у меня изволь быть.

Радостный то он, радостный, а вижу — пугается чего-то, или сам себе не верит.

— Добро, отвечаю, если надумал, идет. Мне что, — могу.

И пошли тут разные приготовления, весь хутор и вся станица в них участие принимала.

— Иван Ильич, а Иван Ильич — прибежит мальченок-подсанишка — когда-жа жана вселится?

— Кыш, — прикрикивал Гаморкин.

— Иван Ильич, а-а-а-а, с законным наступающим браком!

Гонит казачат Иван Ильич, взрослым отвечает на поздравления, а самому ему приятно, будто кто душу маслом смазывает. Даже у него чуб горой пошел, и фуранька на каркасе аэропланом вздулась. Гордился, гордился, только перед самой свадьбой сробел.

Оно и понятно.

Поп у нас, станичники-читатели, дюже страшный был. Вот как описывал его сам Гаморкин.

— Волосья у его — во-о. Бородишша — во-о. Нос багровый и вот етак — дулей. Страшный и удивительный у нас, Евграфыч, поп. Рукавом, што крылом, как взмахнет, так и разойдется на все стороны ветер. Которые старушки казачьи, отекшие, так на ногах и не стоять — валятся. Где была там и — бух. И к нему в трепете.

— Отец Никодим, благослови.

— Во Имя Отца и Сына... к-ха, к-ха...

Етаким ерихонским голосом.

И как значит пришли мы все в церковь, что-б после службы венчание справить, вижу — опять оробел Иван Ильич. А народу — ровно сельдей в бочке, так много набилось. Из дальних хуторов прибрели и прискакали.

— Кондрат Евграфыч, — взмолился тут ко мне Гаморкин, — могёть ты за меня обвенчаишься? Девка она славная, да и казачка хорошая. Настасья звать. А я уж... того-етаго...

— Что ты, — уговариваю я его, глянь народу то сколько понапихано. На тебе лампасы, а ты труса празднуешь.

Подействовали эти мои слова на него. Даже загорячился он, и так как служба к концу пришла, то приказал:

— Веди невесту. Шут с ней!

С нами человек двадцать в церкву вошло. Побежали они за невестой. А народу по окончании службы самая горсточка вошла — остальные все остались смотреть на Гаморкина свадьбу. Около Ильича стояла какая-то старушка, теребила его за рукав и спрашивала:

— Ты-жа скажи, казачек родниинькай — жених то иде?

И на молчание Ильича опять теребила его и дергала, страх нагоняя.

— Женишка бы мне поглядеть. Иде-ж он? Укажи, отец, родимай.

Заглядывали выцветшие любопытные глаза в Гаморкинское лицо, но он мотал головой и упрямо твердил:

— Не знаю. Тут иде-то. Тут, иде нибудь.

Я нарочно избегал его беспокойного, тревожно ищущего меня взгляда. Когда вошла невеста — Настасья Петровна, я даже отвернулся и в этот момент... исчез Иван Ильич.

Певчие уже хватили: „Гряди, гряди, кетливана невеста“...

Петровна в церковь вступила, а Иван Ильич вместо того, что-б ее встречать — исчез. Как в землю провалился. Искать его стали. Смятение вышло. Батюшка с крестом остановился — жених где? — спрашивает.

Народ вокруг оглядывается, под ноги смотрит.

— Не иголка, — кричит Семен Семеныч, — не потеряется.

Туда-сюда.

Певчие по другому разу, без передышки: „Гряди, гряди-и“.

Настасья Петровна, надо вам сказать. девка очень крупных и объемистых размеров, всю церковь прошла — никого не встретила, ничего не нашла и назад уже возвращается, на все стороны смотрит. Запылали у ней щеки от сраму такого. И вот тут кто-то и сказал такое слово, что отозвался на него Гаморкин и... погубил себя навсегда. А слово это было не слово, а вернее вопрос:

— Да казак он или кто???

Тут Иван Ильич и вылез из-за стойки, где свечки продаются, вылез, значит, из-за шкапчика.

— Вот он, говорит, Гаморкин — казак. В чем дело?

— А в том, говорят, извольте венчаться, это вам не в айданчики играть.

А певчие по третьему разу сморкаются и кашляют, а запевают: „Гряди, гряди“.

— Это мы ешшо посмотрим, сопротивляется Гаморкин. Уперся и все тут.. Да поп-то наш станичный, страшный и удивительный поп. Нос у него, этак, понимаете, дулей...

— Каво-о? Это-о каторррай?

— Гаморкин.

— Гаморррркин???

Певчих отмахнул, как на параде, да крестом вверх, да рукавом, что крылом могучим. Ближние старушки попадали, „свят-свят“, зашептали и о Царе Давиде вспомнили. Иван Ильич смутился; привык человек религию уважать. Не противился больше.

Певчие — иные сморкаются, иные молчат, и глазами начальство едят.

Три человечка из них вздумали опять затянуть: „Гряди, гряд-и“, но поп снова отмахнул, и крикнул. Думали от батюшкиного голоса крыша обвалится.

— Беррри девку! — и рукавом, и носом, носом...

Подхватил тут Иван Ильич Гаморкин Настасью Петровну Шляхтину. На материю стали рядышком и свечки им всунули и зажгли. Закоптел себе свечкой Ильич весь свой патрет-физиономию. Поп даже к концу свадьбы его не узнал.

— Тот ли это? — спрашивает — имя то твое ка-ак?

— Гаморк...

— Имя-а-а? Ка-а-к?

Тут и Ильич, вижу я, осерчал.

— Ива-ан.

— Раб Божий Иван, рабе Божьей Анастасии.

— Не раб я, — попытался было объяснить Гаморкин, — а казак.

Но ему договорить не дали — сразу вина поднесли. Всю-то чарку он до дна в сердцах и выпил. Пришлось для Настасьи Петровны опять наливать. Долго потом целоваться не хотел, совестился. Но — окрутили их. Пошли все к Гаморкину в гости и поп и дьякон и певчие.

Гостей же понашло — и знакомые и не знакомые.

До того всем свадьба понравилась — ужасно. Один казак из Сальского Округа тоже жениться хотел — не дали, да и невесты

подходящей сразу не сыскалось. После торжества, батюшка, уходя, Гаморкина по плечу хлопнул.

— Миррр и совет.

На что Иван Ильич тронутый, на нос его посмотрел, да и говорит, умно так подлюга.

— Ученье — свет, а не ученье — тьма.

Батюшка даже задумался и головой за притолку зацепился. Отцепили его и пошел он во-свояси. Да-а. Такие-то дела!

Гаморкин после свадьбы худым волком ходил и никого к Настасье Петровне не подпускал. Потом — ничего. Стал, как и раньше. И туда, и сюда. Поумнел будто. Даже задирал станичников помоложе, которые хотели тоже венчаться.

— Я у Настасьи — муж, как муж: казак, каптенармус и историческая, можно сказать, личность. А — ты? Да не оглядайся, табе говорят — ты. Венчаешься? Ну — какой ты казак? Ну какой ты — жених? Ть-фу на табе. Мелкай народ пошел.

И все же, это ему не мешало на каждой свадьбе выпивать и наедаться до отвалу. Наестся и отвалится.

— Поп у меня бы-ыл. Страшный. Росту-у он — во-о. Голосина... Ну, и што за голосина, спаси Господи — не голос, а труба геликон: гу-гу-гу-у. Нос, этакий — дулей, а волосья...

Нет таких попов казачьих. Перевелись, как и печенеги. Дай Бог ему Царствие Небесное. А мы с Петровной ничего живем, детей, жаль, пока нет. Иначе — трудимся. Да што-ж? То лагерный сбор, то война какая нибудь, все

это от нее и от дела отрывает. Пока раскачаешься, а тут и припрет што нибудь их иноземствия. Выпьем што-ли, што-б не воняло.

. . . .

Когда Ильич был против Японца, заходил я к Настасье Петровне. В те времена и я уже был женат и своим куреньком обзавелся, хоть и не важнецким, зато удобным и с садом. Жену мою звать Прасковья Васильевна.

Хочу рассказать немного о жене Ильича.

Настасьи Петровны Гаморкиной девичья фамилия была Шляхтина. Родные ее рано поумирали и из всех родственников остался один только подслеповатый и тугой на слух, дядя со стороны матери — дедушка Панкрат.

Фамилия хорошая, донская — Шлях-тина.

Что такое шлях — знает всякий казак. Бежит в степи тропиночка, вытянулась в одном месте, перестала вилять и извиваться, и пошла стрелой. Это как бы сердце будущего шляха. От казачьего городка подбежала другая стежка и пошла рядом, потом еще и еще, и образовалась под конец — шлях-дороженька; въ ряд пятнадцать, двадцать тропинок идут вместе, беленькие, копытами убитые, идут и не сливаются...

Ростет между ними ковыль — трава и придорожник пыльный.

И эти шляхи — конные дороги пересекали степь нашу родимую, голубоньку ласковую, вдоль и поперек.

Так вот, была, значит, Настасьи Петровны девичья фамилия Шляхтина. Девкой была бой-баба, вышла замуж, стала деток рожать важная стала, рассудительная, к слезам и оби-

дам охочая и на язык острая. Говорят, люди добрые, женится — переменится. Оно это так, но казачка будто больше казака меняется. Лицо у ней как бы некоторой, вуалей закрывается, как будто даже она внутрь себя глядит, или к примеру, со стороны; сравнивает или мечтает о чем, тишь у ней какая-то в глазах появляется.

Ровно подошла к спокойному озеру, да и загляделась в свое отраженное лицо. Загляделась да и гадает думку.

Вышла замуж и ждет — а что из этого выйдет и в какую сторону ее муж повернет? Да-а. Казачка больше меняется в браке.

Настасья Петровна...

Высокая, стройная, кровь с молоком. Там тебе кровь, здесь молоко. Редко таких женщин казачьих встретишь. Такие вот с нами в старину в Азове дрались, подступы Азовские защищали. Ей — что пуля?

Пронизала мягкоту-то и летит дальше. Костей-то и не нащупать. Наш брат-казак в этом отношении куда малограмотен. Кость сама под пулю лезет. Рассказывали вот в станице, как одна казачка на защиту Булавина, Войскового Атамана, с вилами вышла и здоровенная пуля угодила ей в живот и... ничего. Я не верил, мне объяснили:

— Кишки у ней, Евграфыч, от первой боли к низу прижались, пуля в пустом животе пролетела и пошла гулять...

Может врут. Шут их знает. Теперь ведь такие, времена прости Господи, что и не отличишь, кто брешет, а кто правду говорит. Оказывается, что и брехней-маткой в глаза можно резать.

Частенько заходил я к Настасье Петровне в отсутствии Ильича. Идешь по хутору, а милый голосок издалека слыхать. Если поет, значит работает. Так я на лавочку присяду, что между воротами и крылечком стоит, слушаю Петровнины песни и на дорогу гляжу, или вниз, под ноги, на придорожную травушку у тына и на хлопотливых муравьев.

Расщелкну семечку, дам им мякиш, уж они то ее тянут, уж они-то пыхтят. Как-же. В ней наедку-то. И масло тебе подсолнушное и прочее. Неделю поди зимой есть будут. Кормлю, черную блестящую братию, Донскую тварь, и слушаю, поет Настасья Петровна.

Слова иной раз не различишь, да и на кой шут они, слова, если мы их наизусть знаем.

Никто меня не пожале-е-ет
И ни-кому меня не жа-аль,
Никто... тоски моей не знает,
И не с кем разделить печаль...
Но — ты, да я — нас только дво-о-е,
Но ты вздохнешь, я повторю-у-у,
Серде...чко скажет поневоле,
Что одного тебя люблю...

Жалостная бабья песня. Слушаю я, слушаю. А мыслей в голове? Как муравьев. Будто дали им, как я вот, семечную мякушку, и пыхтят они, мысли, крутятся около мякушки-песни, надрываются. Унесу домой ее, потом, в старости, будет чем насытить усталую душу.

Казак и казачка. Дети старика старого Тихого Дона.

„Но ты вздохнешь, я повторю-у-у"...

Эх-хе-хе-е...

Оторву я от газеты узенькую полоску, накручу на палец, сделав козью ножку — закурю. Дым струйкой унесется в синие, далекие и прозрачные небеса. Растянется в ниточку, повиснет в стоячем воздухе и распадется на обрывки — исчезнут и они.

Кашляну в руку — прервется песня.

— Кто там? — спросит с дворового порога Петровна.

— Это я, Кудрявов.

— Ты, Евграфыч?

— Я, Настасья Петровна. Здорово дневали?

— Слава Богу. Идить-те в курень.

— А я тут... на лавочке.

— Ну, во двор зайдить-те.

Настасья Петровна — букву „Т“ мягко протягивает, открывая при этом пухлые, розовые губы.

Захожу, со скрипом закрываю калитку.

— Что от Ильича цыдульки нет?

— Нет... Забыл нас Иван Ильич, — отвечает Петровна и, усмехнувшись чему-то, идет, ступая твердо босыми ногами, в сарай.

Примащиваюсь на пороге, тут хоть и тень, но все равно, душно.

— А я песню вашу слушал.

— Аю? — несется из сарайчика.

— Песню слушал.

Она с раскрасневшимся лицом несет в корзинке уголь и смеется.

— Нравить-ся?

Она и довольна и не довольна.

— А вы, Кондрат Евграфыч, знаете, как мы с Ильичем в первый раз встретились?

— Нет.

— Так-то вот... Вечерком в саду пела я у нас на хуторе, а он проезжал. Прыг через забор. Я перепугалась... бежать, а он за мной. Луна была такая... Кругом как день. Поймал он, чья такая, спрашивает...

Петровна ушла с углем в курень, я покачиваю головой — угадываю друга своего и наставника. Вышла, вытирая руки о передник.

— Чья будешь? — А тебе, што за дело? кричу, ступай своей дорогой, пока наши ребята боков тебе не обломали. Ишь, говорит, мала, да на язык бойка. Ухватил меня за руку: — Говори, а не то прибью, как Сидорову козу. Больно схатил так. Я аж зубами заскрипела — Шляхтина, отвечаю. Он меня не выпуская, взял и в губы поцеловал. Я дернулась и убежала. Вот и все знакомство.

Сказала и рассмеялась. Рассыпался смех, что горох, раскатился по двору, закатился в хлев, в курник, в сарай и... замолк.

— Это луна наворожила, — сказал я.

— Известно — луна. Я его толком и не рассмотрела. Вижу только фуранька и него на каркасе и чуб — горой.

Она отряхнула юбку и лукаво добавила:

— А вы, Евграфыч, как свою встретили?

— Я-то?

— Да.

— А так... — махнул я рукой, — обыкновенно. Сама она наш лась. Проснулся утром, вроде, глядь, а рядом... жена дышит.

Петровна задумалась, потом, всплеснув руками, убежала в курень — что-то вспомнила по хозяйству.

Посидел я еще немного и поднялся. Без Ивана Ильича скучная пошла моя жизнь...

— Досвидания, Петровна!

. . . .

Сегодня уранил. Когда встал, затопил печь, принес воды для жены и пошел кое-что по хозяйству починить. В закутах оставалась еще ночная свежесть — солнце только что встало. С узких листьев трав скатывались росинки.

Оживала степь, пробуждаясь. Пение птиц из моего небольшого сада долетало во двор; два дня выпало таких, что я на пай не выезжал — перед косьбой. Дома же с земледельческими машинами работы было пропасть. Там прилаживаешь, там стругаешь, там заколачиваешь. Либо чистить базы приходилось, либо еще что. Работаешь.

— Кондра-ат Евграфыч! А, Кондра-ат Евграфыч!

По голосу узнаю — Настасья Петровна.

— Подить-те сюда-а.

Подхожу к тыну.

— От Ивана Ильича письмо пришло с хронта.

— Заходи-ка, Настасьюшка, во двор — я тебе прочитаю.

Она бегом проходя в воротца, кричит в курень моей жене:

— Здрасьте Прасковья Васильевна и идет ко мне под навес.

Под навесом еще холодновато. Кутаясь в платок, садится на передок трандулета и, поставив ноги на оглоблю, слушает и наблюдает за мной с величайшим вниманием. Медленно, осмотрев конверт со следами множества бравших его нечистых пальцев, я подсовы-

ваю в дырочку, где заклейка, щепку и вскрываю серовато-голубой конверт. Письма все свои Иван Ильич, обыкновенно, наполняет тревожными вопросами и с первых строк они, нося беспокойный характер, начинаются с буквы „И“.

— И как вы там все биз мине живете? завел я вас — чертей на свою голову. Дом не сожгли ли и дочка моя цела ли? И ты, Настаська, не изменила ли мне с кем ни на есть, жиры вить в табе играют биз мине... Знаю я твой ненасытный темпермент.

— Што такое тем-пер-мент? — с любопытством спрашивает Петровна. С замаслившимися радостными глазами, она с трудом выговаривает замысловатое „дикое“ слово.

— Это мерило нехороших желаний.

Петровна краснеет.

— И взбредет же Ильичу такое в голову.

Говорит недовольно, а самой приятно. Некоторые словечки, которые Иван Ильич, где-то наслушавшись, пускал в оборот, Настасья Петровна не понимала и за его „ученость“ он ей, кажется, очень нравился.

— Уж скажет, так скажет! Иной всю ночь с боку на бок переворачивается, а уразуметь не может — восхищалась она, восклицая перед соседками.

— Известно, — с зависти давились те: иного умника дык и совсем не понять.

Читаю дальше.

— Как вы там биз меня перебиваетесь? Ты-ж мое все перетруси и травой пересыпь, што-б моль не поела. Пришлю вам скоро по гостинцу. Табе шаль расписную, с желты-

ми разводами, китайскую. А делов тут казаки много понаделали, што не бой — то казаки наперед всех. А казак Василь Иванович однаго капитана засек до смерти шашкой. Был Василь Иванович часовым, а тот на его пьяный полез, оборвал портупей и патранташ-сумку, а к тому же по щеке ударил, а Василь Иванович его за ето, через ухо, шашкой стебанул, потому што был гордый казак, к тому же лицо — часовой неприкосновенное и субординарное. Ешшо новостей много. С фуражем — слабо, а хлеб издеся из гаальян-травы.

— Што такое шалья? Што такое субординарное лицо? А што такое гаальян-трава? — засыпает вопросами жадная Петровна.

Едва успеваю отвечать и читаю дальше.

— С командиром живем душа в душу. Я ему советую, как сотней надо управлять, выпиваем. Георгиевский крест ешшо не получил, да он мне и не к чему — который герой, дык его завсегда видать. В ем дух геройский пребывает. Поглядит иль как усом поведет, или бровь линией перпендикулярно поставит. Выпиваем лахвит — далеко ему до нашинских Донских вин.

— А што такое — лахвит? А што такое пер-пер-дик?...

Петровна запуталась и махнула стыдливо рукой. Глаз ее лукаво блеснул на меня. Я же читал, не замечая ее смущения.

— Скажи куму, што я увесь лазарет картузный лягушечьим супом две недели кормил.

Тут пришла очередь мне придти в недоуменье. Эту фразу я перечитал медленно —

...увесь лазарет картузный... г-м...

Дальше следовало объяснение.

— Недалеко от нашей стоянки раскинулись палатки лазарета. Раненых в ем, как и полагается — нет. Гуляют они порожняком. Два доктора, штук пять фершалов и стадо сестер милосердных, одна краше другой. А я знал, што в одной ханзе китаеза варит из лягушек супы, когда ехал раз за фуражем, мине перестрел фершал:

— Эй — станичник. Где тут продовольствие направить можно? У нас кухня испортилась.

Я ему и указал. Потом они к китаезе скопом ходили две недели. Лопали суп и хвалили. А потом было им уходить, они ему отказали, — тут и выйди задержка — пришлось опять иттить до него.

— Подавай супу.

— Нету, говорит китаец, моя не варил.

— Так вари.

Одна сестра носик сморщила: фи, дескать, какой малодогадливый.

— Сычас, засуетился ходя, сычас. Только вот в то болотце сбегаю лягушек для ваших милостев наловлю.

— Што??? — как закричат усе — Лягушек??

Ды как начали усе блювать в семнадцать ртов — ажнак страшно. Сестры одна за другой в обморок — хлоп, хлоп, хлоп. Будто шрапнелью их косило. Наш командир на помощь пришел.

— Ох, — они ему говорят, — есаул, ох... тошно. Лягу... Гы-ыы-ы.

Ну, он, конечно, парень не простак, узял одну и до своей хватеры довел. Там она и пробыла, пока не пришла в чувства более равновесные. А до тех пор все с карнетиками гуляла, а значится приболела в беде — сычас казачьего офицера на подмогу узела, от хранцузьского языка отказалась. Мине некоторые казаки говорили — молодец Ильич, спесь посбивал. Што с них все казаки смеялись-смеху. Стоим в стороне и кричим:

— Фу-й. Лягушка. Компреневу брекекен, и дальше в том же роде.

— Остаюсь в полном здравии затем, и теле, чего и вам жалаю. Ваш муж и отец — Иван Гаморкин. А ешшо поклон — тут шли приветствия и поклоны и наставления Настасье Петровне, как быть и что делать.

— А ешшо живите вы по Божески, всем помогайте и нас не забывайте. Помолись в церкви, што-б мине Бог от пули или сабли спас и победу Дону даровал, может нам москали, за подвиги наши ратные и жертвы великие покою дадут, и в наши земли здорово лезть не будут.

Когда кончил я письмо, Настасья Петровна бережно сложила длинный лист.

— Да-а, — почесался я, — занятно пишет. Обстоятельно.

Петровна засмеялась мне в лицо и сказала:

— Фу-й, лягушка. Спасибо, Евграфыч.

Она кивнула головой и, крикнув на ходу жене моей в курень:

— Досвиданьица, Прасковья Васильевна, — поспешила домой...

. . . .

Надо сделать маленькое пояснение. Перед отходом на Японский фронт у Ильича родилась дочка — Анна—Нюнька. Стал я ему кумом, но он все так же относился ко мне немного снисходительно, как к сыну, иногда подтрунивал даже. Когда же Иван Ильич пришел с войны, мы приняли с ним участие в усмирении 1905-го года. Тут я пострадал. Под Бахмутом выбили мне камнем глаз. Должно быть кто нибудь из рабочих. После всяческих треволнений, опять потекла наша незатейливая жизнь. Все-же, мы как-то постарели с ним, и появилась у Гаморкина некая даже грусть о прошедшем времечке, о мелькнувших молодых днях. Он часто пускался в воспоминания и особенно врезалась в память мне одна совместная наша ночька.

— Дорогой мой кум, Евграфыч — укоризненно покачал головой Гаморкин — Ну разве ты не помнишь, как мы проводили с тобой наше времячко молодое? Так ты болен, кум мой. Это у тебя — болезнь.

Ветеринар из Арчады с бритым лицом и сиреневыми щеками, Петр Карпович, человек с высоким и отличным образованием определил.

— Анестезия памяти. Атрофическое явление.

— Ка-ак? спросил Гаморкин, взглянув на него мельком.

— Анес... Анемия памяти — проглатывая Цымлянское, повторил ветеринар. Вот оно, — думал я, высокое образование-то где.

— Слыхал? — обратился ко мне Иван Ильич, не рискуя, однако, повторить чужое слово.

— Ну кое-что у меня в памяти осталось — попробовал я оправдаться.

— Осталось. Эсталось — передразнил Ильич — утопить тебя в дырявом казане надо за такую память. Хорошо. Будь по твоему. А ну-ка скажи, друг любезный, в каком это году и при каких обстоятельствах, конь твой Дерезок, заболел горловой болезнью, кашлял и пузыри пушшал?

— Не помню.

— Так я и знал. А я помню.

Лицо Ивана Ильича, загорелое, усатое, исказилось легким презрением ко мне, и, глядя в соловеющие глаза ветеринара, он заговорил, не обращая на меня никакого внимания, но обо мне же.

— И с тобой так-то вот будет Петро Карпыч. А от чего все это проистекает, вот у него — например? Наука память сушит. Расположится она в мозгу, как дома, а память, как работницу — запрет в угол и давит ее там, выживаить из ея же, костяного куреня.

Гаморкин согнутым пальцем стукнул по лбу и продолжал.

— Скажем, учится человек. Набереается науки, как сухая тряпка водой. А куды памяти? Ей, можно так выразиться, прямо приходит гроб. Прижимается она к стенкам, прижимается, жмется, жмется, да, глядишь — в ухо и выпрыгнула. И стал человек ученый, а память — тю-тю. Такой платком нос утер, на стул его положил, да платок-то и... забыл. В церкви очки на лоб сдвинул, да при поклоне вместо лба, очками об пол — хлоп. Аа, — кричит, мать твою! Очки разбил. А иной на коня сядет, подпруги не затянув, ну валится

рылом в грязь, удивляется — в чем дело. Нау-ука.

А он, — Иван Ильич, показал пальцем на меня, — в Духовном обучался. Сколько годов? Три годика. За три года наука три четверти мозгов заняла, а памяти четвертую оставила, а ето... больше моей дули и не получится.

Довольный своей философией, Гаморкин чёкнулся со стоявшей на земле баклажкой и выпил свой стакан с вином.

Были мы в ночном рыбальстве. Петр Карпович лежал под перевернутой и подпертой из-под одного борта лодкой, на манер некой холобуды устроенной, и только его плечи и голова в полотняной фуражке выступали наружу из полумрака. Мы рыбалили на заходе солнца, и обосновавшись на ночь у лодки, выпили и завели вечерком разговоры.

Быстро темнело. Ильич сидел, поджав по турецки ноги. Небольшой костер, который мы развели от камаров, догорал.

Когда засопел ветеринар, пришла пора и нам укладываться спать, Ильич задумчиво посмотрел на небо, на загоревшиеся звездочки, и тихо произнес:

— Слушай, кум, што я табе скажу. Раньше видал я одну звезду, переливалась она цветами радуги, и горела прямо над моим хутором, а теперь — нет ее. Куда она делась — не пойму. А обидно. Была ето настоящая звезда. Смотрел я и из чужих стран на небо, но ее не видал. Она только над Доном светила. Можно сказать — настоящая была, казачья звезда. Блестить сабе в одиночестве, с другими звездами не мешается, свою линию

гнёть, свое достоинство держить. А теперь — нет ее. Может погасла, может завалилась куда? Грустно мне, посмотришь на небо — а ее нет. А когда я один, так даже страшно. Видал я ее, а теперь не вижу. Другие же звездочки горят, переливаются. Да-а-а!

А тут ешшо Пятиизбянцы проезжали, на возу книги везли.

Поздоровались.

— Што, спрашиваю, за груз?

— Книги, — отвечают, — с Урала, старинные.

Стал я их разглядывать. Обложки из кожи, старые, потемневшие и покоробившиеся, чудными письменами записанные, на углах в железо закованные.

— Да, книги знатные.

— Святые книги. Все в них записано.

— Усе?

— Да-а Чему быть и чего не миновать.

Рассказал и я им, что Казачья Звезда на небе погасла, а один из стариков усмехнулся, бороду в кулак зажал.

— Слушай-ка, — говорит — мил-человек, Иван Ильич, прочитаю я табе, хуть ты и не старообрядец, што в наших книгах прописано.

— И погаснет на небе четырнадцатая звезда... Наступит в 1917 году — Царствие Антихристово... А в 1919 году, Красный Дух загонит Белого Духа в море... А спасут нас вольные казаки — люди с пятнадцатой звездой...

Стою я и слушаю. Год-то у нас какой, Евграфыч, вить десятый только. Што-ж — семь годов ждать?

А они:

— Могёть и меньше. Мы ети книги едим сверять на Лабу, в Некрасовскую станицу. Есть там ешшо один из наших, человечек умный и понятливый, — ен проверить.

Ну, а я опять с распросами.

— А спасут — вольные казаки?

— Да-а.

— Кто-ж ето — Донцы, Кубанцы, Терцы или другие?

— Не-ет. Ето будут вольные люди — всякие казаки... Прийдут они из разных стран.

— Да разве есть иде в мире казаки окромя тутошних?

— Нет, да будут.

Хитро так старик мне сказал. Сели они на подводу и поехали дальше. Пять дедов старых. Покрутил я головой. Ты подумай, Евграфыч, с Пятиизбянской станицы на Лабу ехать — книги сверять.

Предсказание у мине однако в уме осталось. Месяц уже прошел, не забыл я его и табе вот рассказал, а они просили ни кому не сказывать — значит, кум, ешшо одна звезда должна погаснуть при нашем спасении, так сказать — пятнадцатая. А какая из них?

Гаморкин посмотрел на звезды, потом улыбнулся.

— Надо коня мово спросить. Конь у мине — звездочёт, сразу определит. Усе понятно, кум?

Я тоже глядел на небо. В душе степной мистицизм будил какие-то смутные чувства и была в них и тревога, и любопытство, и боязнь.

— Верить им, или не верить?

— Верить надо, — серьезно сказал Иван Ильич — деды старые, казаки крепкие, врать

не будут. Зря пугать — тоже. Как можно? Да и рази они вруть? Ты подумай, ученая твоя голова, скажем, при сотворении мира сколько звезд было? Больше чем сычас? — Конечно. Очення даже много. И мелких и крупных. Потом потекло время, побежала жизнь, и стали они меркнуть. Одни падают, другие тухнуть, третьи на кусочки рассыпаются. А деды по книгам за главными наблюдают. Скажем, одна исчезла, другая, третья и тако далее. А они сычас ето в книгу: — Ага, мол, по счету седьмая... Так-так... Высчитают и скажут — близится то-то и то-то: мор, или чума, или война, или што другое. А сычас вот четырнадцатая звезда закатилась. Ды каак раз моя-то. Сколько я ее нее глядел, и-и-и. Сыяла она, сыяла, для нас — казаков, да и погасла. Значит кончится скоро наше беспечальное житье на неопределенное время.

Гаморкин отвернулся и посмотрел на свою родимую речушку.

— Ну, да вот тебе, кум, я это усе сказать могу, а вот гостю нашему, из Арчады — как скажешь? Ен человек — ветеринар не поверит — засмееться.

Внезапно, наступившую тишину прервал голос ветеринара — Петра Карповича. Задремав вначале, он проснулся от комариных укусов и уже, минут двадцать, как слушал Ивана Ильича.

— Это ты зря, Гаморкин, так говоришь.

— А рази не правда, Карпыч?

— Нет, конечно. Я тебе лучше расскажу историйку. Был Окружным Атаманом Жидков и в Чирскую, когда начались лагерные сборы, явился казак и отказался выходить на

занятия. Его под арест. Не идет — и все тут. Оказывается, не хочет заниматься для грядущего Антихриста. Тоже с книгами доказывали. — Помру, говорит, лучше на родной земле, чем потом, в грязное дело влезши, прийдется иде нибудь, как собаке под тыном, подыхать. Так ничего с ним поделать и не могли. Весь лагерный сбор в каталажке отсидел.

Ну вот-вот, — подхватил Ильич, — и ети тоже самое говорили. Ды к тому же... нет звезды казачьей. И не я один заприметил, а и другие казаки-станичники.

Ветеринар отрезвившись, опять стал наливать нам. Да и сон куда-то пропал. Сделав глоток, я спросил Гаморкина:

— Вот как это понять — Красный Дух?

— Ето значит — Красный Дух, враг Божий, супротивник его.

— А Белый?

— Што Белый? Ето наоборот, который за Бога.

— Так за что-ж он в море-то? Разве ему помощи не будет?

— Г-м. Видать не будет.

— Почему-ж так? Белый, Божий, так сказать.

— Может провиниться — буркнул ветеринар, уже равнодушно слушая нас, думая о чем-то другом, а то и просто собираясь опять вздремнуть.

— Во-во, — ухватился за эту мысль Ильич — могёть и проштрафиться. Начнет, скажем, правильно, а под конец и согрешит. Тут ему и смерть, тут над ним и возмет перевес Красный Дух, загонит его в море...

Петр Карпович громко всхрапнул. Мы с Иваном Ильичом, от такой неожиданности, вздрогнули и почему-то инстинктивно повернули головы на север. Загорелась зарница, и в ее мгновенном блеске, мы увидели розоватые полосы и огненную черту горизонта. Нам пришла одна и та же мысль в голову, но ни я, ни Гаморкин ее не высказали, так она и потухла, как и зарница.

Ильич поднялся и пошел к удочкам.

— Куда, Ильич?

— Пойду принесу одеялку, забыл.

— Науки в голове у тебя много, — неловко и как то неуверенно пошутил я.

Гаморкин остановился.

— Верно твое слово, кум. От такой науки премудрой, как жизнь и будущее толковать, совсем ум за разум зайдет.

— Это-ж как? — угадывая какой-то его особенный, Гаморкинский смысл переспросил я, но он уже спохватился и стал отшучиваться.

— А так. Ум вытолкнет наперед разум, да за его спину то и спрячется.

Гаморкин засмеялся.

— Знаешь ты что-то, Ильич, да не говоришь...

— Знать, может, и знаю... ну дык ето про себя берегём. Наш хутор, может, хоть и ты в ем живешь, а сухари уже сушит...

Он скрылся в темноте, а я полез под лодку. Степь накрыла ночь и только слабо шумели кавыли.

Большая мне охота записывать так-то Гаморкинскую и свою жизнь. Конечно не все, времени просто нет, и может с большими пе-

рерывами — ну, так мы на многое и не претендуем. Для себя ведь хорошо, а как другие на это посмотрят — не знаю, да и не важно. Не нравится — пускай лучше напишут, всяк в своих мыслях волен, и излагать их — тоже.

Пролетело и это лето, настала осень. У меня в привычку стало по вечерам на лавочке сидеть, либо с женой, Прасковьей Васильевной, либо одному. Сидишь, думаешь, и от дел дневных отдыхаешь. Сел так-то вот я и на этих днях. Стоял теплый осенний вечерок. Деревья еще не расстались со своим убранством и тени их, падая на землю, были черны и таинственны. А луна была не луна, а так — чудо-юдо. Яркая и белая. Будто круглое сильно освещенное окошко в небе.

Окружающая тишина располагала к возвышенным чувствам и высоким мыслям. Рядом со мной уселся подошедший Гаморкин и через минуту, будто поддаваясь ее влиянию, заговорил медленно и тихо.

— Вот, кум, живем мы с тобой на Дону. Земля наша называется — Областью Войска Донского. Помимо ее есть Америка и прочее там, тому подобное. Ну, к примеру, скажем: Аѳон, Саракомыш, Валахия и Молдавия, река Вислая и много иных — причудливых и далеких стран.

А мы с тобою — казаки, а наше место — Дон.

Много мы с тобой, Кондрат Евграфыч, видов видывали, много всякой всячины слыхивали, а всетаки не все пересмотрели, не все переслушали. Иной раз, дык хочется ешшо чего нибудь етакого испытать, Ермаковского,

што-ли. Землю открыть, да и сказать — нате, мол, кушайте на здоровье!

— Это, — говорю я, — у тебя романтика, Иван Ильич, бродит.

— Какая-такая романтика? Ето што-ж за слово будет? В толк я его не возьму, да и не дал ты мне договорить. Откуда у тебя манера — поперед батьке у пікло лiiть? Ты — слушай, знай.

Моя душа казачья, живет иным. Ну што, спросим, исдесь на земле? Никакого удовольствия. Атаман — наказной, служба постоянная и всякие чуждые нам законы. А у мине душа — иная. Меня, скажем, звать Иваном — я при Наказном Атамане хожу и Царю служу, а душу звать — Варвара. Совсем другой человек, черт меня забери, она никого знать не хочет и для нея, кроме своих, другие законы... не писаны. И што-ж выходит-то?

Живет Иван, а в ем ешшо живет Варвара. В одном человеке — два человека. Во-о, кум. И Варвара — больше казак, чем Иван. Иван Московского Царства холуй и солдат, а Варвара свое хочет, к своей жизни стремится, а ее обратно. И всетаки — она сильна. Влиянием своим. Моя душа скажем, на твою душу Казачью влияить и обе они — никогда не умрут? А ты — Евграфыч, да я — Ильич, ляжем в известное время и умрем. А души? Варвары освобожденные? Ге-ге-ге. Вот тут-то они и будут свободны.

— Слава Богу, скажут, ни служить, ни покоряться никому не надобно! — выберут сабе курганчик в степи и будут жить припеваючи.

Казачьи души усе тут-вот, в степи, живут. Целым Войском, Народом Казачьим и Атаманами своими прежними — с Атаманскими душами.

Хорошо им и интересно. Живут — не умирают, за живыми наблюдают, и опять на землю вертаются.

Только народ мельчает, старая-то душа в полном объеме в теперешнего казака и не влезет, поэтому и они сжимаются. Вроде подсыхают. Г-м, а бессмертные?

Жалко.

Ето я так думаю. Только вот, гуторят люди — есть Рай и Ад.

Должны они наступить в конце Мира. Как ты думаешь, будет ето, ай нет?

— Не знаю... — пожал я плечами.

— А ежели будуть? Куда мы с тобой Кондрат Евграфыч?

— Не знаю...

Он молчит минуту.

— Што Рай??

— А что Ад?? — вторю ему.

— Да-а, и што Ат?? — подтвердил Гаморкин и глубоко задумался.

Спустя некоторое время, он опять предался размышлениям вслух.

— Нам, покедова не поздно... надо што нибудь придумать промеж Рая и Ада. Скажем, особую отделению, для Казачества. А? Етак, што нибудь среднее, што-б усем в одно место собраться, да перед концом Мира — прошение. Так, мол, и так — Ат, мол, да и Рай, для иногородних, а мы, мол, казаки, — неудобно усем вместе мешаться. Пристройте нам другую обитель. И так, мол, што-б и степь, и

речка Дон, и станицы, и наша власть и усе такое...

— Так — это-б Рай был, Ильич.

— Рай?? Так што-ж, подбавим и Аду. Службишку какую: райские сады охранять с нечистой силой воевать. Вить усе может быть — Вельзевул войну, скажем, объявить. Налоги.

— Будет, Иван Ильич. Это-ж та же Земля получится. Там воюй и здесь воюй, там Дон и здесь Дон. Разницы никакой и нет!

-- Да, черт возьми — согласился Ильич — верно ты говоришь. Нет никакой разницы.

Сказал и поник головой.

— Вить вот же жизнь собачья выходит. Куды не кинь — везде клин.

— А ты же чего хочешь?

— Воли Казачьей хочу.

— Ишь чего захотел. А бублик хочешь?

— И бублик хочу. А ешшо Круг хочу, што в бублике, и Атамана Войскового хочу, и Государство Казачье хочу.

Какая-то собаченка бежит по улице. Иван Ильич чмокнул губами, потер указательный палец о большой, и позвал ее грустным голосом:

— Кутёк-кутёк. Кутю-кутю-кутю...

Собачка остановилась, повернулась, и побежала обратно.

— Ну, ты глянь — с комическим отчаяньем воскликнул Гаморкин — звери-то, звери и те напуганы. Кышь, сволочь — крикнул он с сердцем и уставился опять на меня.

— Да-к как же, кум?

— Не знаю.

— Не знаю, да не знаю, затвердил как сорока. А еще в Духовном обучался. И черт его знает, чему вас там учат? Скажи-ж, вумная голова, как разницу ету направить, или мне надо говорить, хотя я нечему, кроме как письму не обучался. А? Может разница уже есть?

На дороге опять появился кутёк.

— Кышь, сучий сын! — заорал злобно Гаморкин и нагнулся нарочито за камнем. Поднявшись, он прищурился в темноте и стал, осторожно подбирая слова, проводить свою мысль.

— Ты думаешь, што ничего так таки и не выйдет?

— Да.

— Ан... брешешь!... Я табе сычас докажу. Ты-то про сметку Казачью забыл поди? Ну-ка ответь — все, кто живот свой на поле брани положил, иде будут? А?

— В Раю, будто...

— Дык Рай — наш?

Я расхохотался.

— Наш.

— Так, што-ж ты говорил, што разницы никакой не выйдет? Вить в Раю то нас большинство будет. Зря што ли казаки за всех умирают во всяческих битвах, боях и сражениях? Не зря-а! Вовсе даже не зря. Мы сабе новую землицу кровью и муками великими добываем. И добыли уже.

Фу-у... Даже мине в пот вдарило. А теперь, забирай жану свою Васильевну, да пойдем ко мне у гости, к Настасье Петровне.

Гаморкин встал и отряхнул шаровары.

— А на Небесах, кум, на Небесах-то мы ни кому не дадимся — во второй раз не надуют — на-кось, выкуси...

Скоро мы шли трое по сонной улице — я с женой и Гаморкин. Он что-то насвистывал, а подходя к своему куреню, удивился.

— Смотрите-ка, Петровна огонь задула. Тю-у.

Он постучал в окно.

— Кто там?

Услышали мы голос Петровны.

— Ето мы с кумом.

— Полуношники окаянные.

Гаморкин развеселился и пошутил.

— Мы с ним в Рай утром отправляемся.

— Куда?

— В Рай.

Наступила тишина, потом Петровна сердито спросила:

— А што-ж вы в сумашедший дом не поедете што-ль?

Наш смех разбудил улицу.

— Открой, — сказал Гаморкин, — мы к тебе. С нами Прасковья Васильевна.

Почти тотчас же засветился в курене приветливый огонек.

Мы повечеряли у Гаморкиных, поговорили о том, о сем, и под конец, каждый умостившись поудобней, стали слушать сказку, которую Иван Ильич стал рассказывать приставшей к нему шестилетней дочке своей — Нюньке. Начал он рассказывать плавно без запинки и как вот до самого конца, я даже подивился — что за умение такое, прямо, талант.

„В некотором Царстве, в некотором Степном Государстве, жили да были два брата-казака“...

— Ну да уж ежели проговорился, так было ето на Дону.

„Одному было имя — Игнат, а другому — Тараска. И были они казаки не бедные, и не богатые. Игнат на охоту ходил, а Тараска рыбу ловил и в курене по хозяйству занимался. Жили они в маленьком городке, а городок етот лежал на самом берегу Дона. С одной стороны река синяя, стало быть, текеть, а с других трех сторон — валы высокие понасыпаны из земли, а на валах ешо тыны поставлены. Отгораживались казаки от всех злых людей, што в те старые годы по степи бродили. Городок был маленький — жило в ем человек сто казаков и шестьдесят казачек, двадцать девочек и семьдесят мальчиков. Были казачьи жены из разных стран — татарки, калмычки, черкешенки, персиянки, русские, украинки, польки и другие.

У казаков же был старший над всеми — Атаман.

Был этот атаман от земли аршин, голова у него была, как котел большая, а нос — красный, картошкой, и усы висели до пояса.

Люлька у него была глиняная и табак он курил особенный какой-то — вонючий, вонючий.

Когда закурит, то усе чихают и разбегаются.

Через этот табак и стал он атаманом Казачьего Городка.

Было ето дело так. Собрались казаки себе атамана выбирать, одни говорят:

— Пусть Гордей будет нами управлять и нашим атаманом станет.

Другие говорят:

— Не хотим Гордея, у него ума нет. Да и не будет он нас слушать. Выберем лучше Тимофея.

А когда казаки себе атамана выберут, то ведут его на почетное место, поют винами сладкими, обряжают в одежды парчевые и шашку ему цепляют на бок — вся то она в серебре, да в золоте, и самоцветных камешках, а на ручке цепочка, на цепочке три колечка:

Одно — што-б Дон любил,

Другое — што-б казаков непослушных бил,

Третье — што-б Волюшку Казачью хранил.

Как опояшут ему шашечку, так оденут папаху. Высокую такую, с красным верхом. А верх, к тому же, серебрянным позументом расшит, стальной проволкой прошит, и на голове дыбом стоит.

В руки ему дадут булаву атаманскую, казачью. Горит и она разными роскошествами и богатствами, и жемчугом катанным, и рубинами алыми, и брилиантами самоцветными — в изумрудах, да во алмазах уся.

Так вот, значит, и спорило девяносто девять казаков промеж себя, а сотый — казак Никодим (я вспомнил почему-то батюшку, который венчал Ивана Ильича), взял булаву самолично, закурил свою трубочку, и спрашивает:

— Кого хотите атаманы-молодцы?

Расчихались все, расплевались от табачища поганого — руками машут, слова выговорить не могут.

— Што-ж, — говорит Никодим, — кого хотите?

А сам трубкой: пуф-пыф, пуф-пыф.

— Горде... П-чхи... П-чхи — сказал один и убежал скорей.

— Тимох... Ап-чхи... — крикнул другой, присел на корточки, уткнулся носом в землю, што-б дышать было чем, и тоже замолчал.

А остальные совсем от дыма угорели дыхание у них сперло.

— Аап-чхи-и, п-по-потуши, просят, трубку — все нутро съела проклятая".

Нюнька хохотала как сумасшедшая, да признаюсь, и я смеялся глядя, как Иван Ильич чихал и изображал всех в лицах. Смеялись и женщины.

„— Кого хотите? — спрашивает Никодим, а сам — пуф-пыф, пуф-пыф. Поворачивается на все стороны, дымит на весь городок.

— Ох, — молют казаки, — тебя-а. Аппчхи!! Тебя — Никодимуша, пусти только душеньки на покаяние. Только не дыми, отец родной.

Одел Никодим на себя папаху Атаманскую и шашку драгоценную и пошел в Станишное Правление. А трубку о каблук выбил и за пояс заткнул...

Так-то вот, и стал он Атаманом.

И вот под этим-то атаманом и жили Игнат да Тараска. Были они одни — одинешеньки, нежанатые — холостые, и был Игнат светлый в волосах, а Тараска чернявый и загорелый.

Лето в тот год было жаркое-прежаркое и казаки больше в куренях сидели, даже в

Главное Войско не ездили, где Войсковой правил.

Проедишь по степи две версты, конь язык высунет, как пес, и дальше идти не может.

Известное дело, спрашивается — куда в такую жару пойдешь?

Дон омелел и рыба горой пошла, звери и те в норы позабивались, по балкам и колдобинам попрятались.

И загрустил Игнат с Тарасом. Стало им от той великой жары скучно — пришли к атаману...

— Отпусти ты нас, Атаман, погулять по белу свету — тошно нам в станице.

— Да куды-ж вы в такую жару пойдете?

— А туды... — махнул Игнат на Восток рукой.

— Ну, што-ж идите, да к осени ворочайтесь — в поход пойдем; басурманов бить, на зиму зипунов доставать. Должон я Войсковому всех казаков с собой привести. Не вернетесь ко времени, пымаю — чубы выдеру.

Говорит, а сам трубкой — пуф-пыф.

Чихнули от табачища Игнат и Тараска, сказали: прийдем, бывайте здоровеньки... да и пошли снаряжаться в путь-дороженьку.

А как убрались, сели на коней и стали выезжать, нагнулся Тараска до земли и сорвал на ходу два зеленых лопуха. Стал тут смеяться над ним Игнат:

— Я шашку привязал, а ты лопух взял, я пику свою в руку, а ты — зеленую траву.

А Тараска говорит:

— И мое оружие не плохое.

Пошли они по шляху. Идут шажком, промеж себя разговоры ведут. Проехали с версту — качнулся под Игнатом конь... А был у него конь рыжей масти, тавро у коня — кружочек — Аги-ма-Джана конь, отбил его Игнат у нагая в лихой схватке.

-— Што спотыкаешься? — прикрикнул на него Игнат и нагайкой коня хлестнул.

А Тарас увидал, што и его конь слабеет, покрыл ему голову лопухом и себе другой лопух на папаху прицепил. Едет себе, посвистывает, сусликов подразнивает. А те в норки попрятались, одни хвостики на солнышко повыставляли. Хвосты-то у них холодные и летом и зимой".

Тут Нюнька перебила отца:

— Отчего у них хвостики холодные?

Иван Ильич усмехнулся, погладил ее по голове. Потом продолжал.

„Игнат смеется — разливается.

— Ишь, нарядился как братец.

Едут дальше. Под Игнатом конь вспотел и дрожит, а Тараскин идет, хвостом машет, из под лопуха в степь посматривает. Даже ржет на тонкий голос.

Проехали ешшо версту.

Игнатов конь вздохнул, на дыбки взвился, и на бок свалился. Вывернулся из-под него Игнат. Что же делать?

Остановился Тараска, говорит брату:

— Иди-ка ты домой, стереги курень, на одном коне двум не уехать.

Снял Игнат седло и пошел домой, а Тарас поехал дальше. Едет себе и едет. Мало ли ехал, много ли, долго-ль или коротко, а

только стал он клевать носом. Клевал, клевал, да и заснул.

А в Главном Войске шли в те поры великие споры и раздоры.

Вечно спорили казаки, кому у них быть атаманом. Станет Степан — пойдут в поход и погиб Степан — выбирай другого.

Станет Иван — срежет его головушку татарин кривой шашечкой и — нет его — выбирай другого. Так вот они и выбирают все время. А Атаманы — молодец к молодцу. Войско-то Донское людьми богато.

Богатырей — счету нет.

Атаманы всегда вперед, орудуют пернaчами, крошат на кусочки врагов. Подбавляют казачьей славушки. А славушка-то словно жана: хорошая — дома сидит, дурная — по свету шалается.

Разбрасывают Атаманы свои косточки по степи — этим ли добром скупиться казакам Донским? Стоял бы крепко Казачий Присуд.

Так и выбирают себе все время Атаманов. Выбирут, а он уже и в сыру-землю на покой просится — либо в бою пикой его в сердце, либо стрелой. Так-то вот, выбирают, выбирают, да и разругаются. Иной раз до таких раздоров дойдут — шашки вынимают. Обнажили клинки и теперь, закричали свирепыми голосами:

— Или друг друга побьем и главный городок Раздоры снесем, или Бог нам в нашей смуте великой рассудит и поможет.

И... глядь — идет старичек из-за кургана. Старенький такой, старенький, сморщенный как печеное яблоко, хилится из стороны в сторону.

Идет и таранку грызет; отгрызет кусочек и из баклажки водицей запьет: запьет, усмехнется чему-то ласково и хлебцем закусит.

Кинулись к нему казаки, обрадовались новому человеку.

— Вот, говорят, рассуди нас, странник степной. Нет у нас в Атаманы человека подходящего. А должон он быть:

храбер, как орел,
жесток, как коршун,
быстер, как олень,
умен, как никто из нас, так умен, штоб ум казачий наружу даже выступал и сзади на десять верст волочился. Во-о, какой должон быть казак.

Кивает старичек головой, усмехается. Доел рыбку, вытер седые усы, расправил бороду, да и говорит:

— Вижу, со степи к вам казак прийдет, так у него от ума на голове трава растет, — его и выбирайте.

Сказал и исчез".

Тут Нюнька, догадавшись о конце сказки, в ладоши захлопала.

— Ну, слушай, слушай — сказал Иван Ильич.

„Сказал старичек и исчез. Будто его и не было вовсе. Подивились казаки — был старичек и нет его. Валяется лишь на дороге тараний хвост и голова в пыли. Што за диво чудное такое? Стоят и думают. Может посмеялся над ними старик.

Ан смотрят — входит в ворота конь, на коне казак спящий, на казаке — папаха, а в папахе — лопух.

Сняли Тараску с седла, не успел казак и глаз протереть. Дали ему в руки булаву Атаманскую — Войсковую, а она, как солнце; одели шапку меховую, а она, — што наша хуторская колокольня.

А когда осенью пришел Никодим и привел свой отряд, то стал всем казакам говорить:

— Всех привел, а один сбежал у меня, предатель. Ровно тума, а не природный казак. Скажу Атаману — пушшай на него пеню Войсковую наложить, а уж ежели я пымаю — так прошшай его чуб расчудесный.

Говорит, а Тараска за его спиной стоит, притаившись. Потом положил Никодиму руку на левое плечо, повернул к себе лицом — тот аж зажмурился. Да как-жаш — стоит Тарас и держит булаву Войсковую.

Упал Никодим на колени, котлом-головой в ноги кланяется, прощенья просит.

— Прости, батька-Атаман.

— Бог простит, а уж казак Дону не изменшшик.

И перед походом играли казаки песни, скакали и штуки разные на конях выделывали, и стрелы в синие небеса запускали, казачка плясали.

Никодим себе на ус наступил и трубку свою разбил.

Уж гуляли казаки, потешалися, силой молодецкой похвалялися, и я с ними хвалился, пока не напился и в ковыль не свалился".

— Ну-уж табе подай только, — сказала смеясь Петровна, сразу разрушив наше сказочное настроение. Сказка была окончена. Все встали и стали желать друг другу спокойной ночи, потом мы с Васильевной пошли до-дому.

. . . .

Начал я хорошо свои воспоминания, а вот как их кончу, не знаю и когда — тоже. А может я и не с того вовсе начал? Может надо было начать с данного момента, да и углубиться потом в интересную жизнь Гаморкина, богатую разнообразнейшими событиями, углубиться, да и кончить на его рождении, кончить в тот самый момент, когда при его появлении на белый свет, отец Ивана Ильича забил свою трухменку на затылок и выразил свое удивление в недвусмысленном восклицании:

— Што за гусь родился, Царица Небесная!?

Под „гусем" можно подразумевать новорожденного.

Иван Ильич родился, конечно-же, в рубашке. В этой рубашке, как он сам рассказывает, он ходил до восьмого года, пока, купаясь в Дону, не повесил ее на кусты, — тут кто-то ее и скрал.

— Но счастье мое, — уверял Иван Ильич, — осталось со мной. А рубашка? — шут с ней. Старенькая, все равно, стала, во многих местах прохудилась. Да и шутка сказать — восемь лет носил. Рукав у ней один был оторван, и вырос я из ней порядочно. Первое чувство при рождении меня охватившее, была злость на окружающих и на то, што чья-то рука, меня, Ивана Ильича Гаморкина, долго и упорно шлепала.

— Не кричит, — возмущалась бабка, и для чего-то полезла мне в рот пальцами.

От пальцев пахло огурцами и таранкой.

Отец же ходил из угла в угол и говорнл:

— Пошлепай ешшо!

И меня шлепали и подбрасывали, но я, стиснув зубы, молчал и голосу своего подавать не хотел. Не хотел вступать в разговоры. Во-первых, как я сказал — я был недоволен. Чем? — а всем. Мне не нравились и полумрак в курене и охаюшшая маманька, и папанька в черевиках на босу ногу, в залатанных синих, с красными полосами по бокам, штанах, и бабка повивальная, бьюшшая меня неустанно по одному и тому же месту, а, во-вторых, я не знал — зачем я вообще родился на сей грешный свет?

И вдруг я почувствовал значительное облегчение.

Рука, меня шлепавшая, мгновенно отдернулась.

Бабка вскрикнула:

— Паршивец!

Папанька покатился со смеху и сказал:

— Ну, усе в порядке...

Мать, как и следует больной, поморшшилась и застонала громче.

. . . .

Да, вот именно, — начало ли это моих „заметок“, или конец? А может мне как раз нужно было зрелый возраст Ивана Ильича захватить, тем более, что при рождении я-то не присутствовал, еще и на свете меня не было, да и встретились мы с Гаморкиным, когда мне было шестнадцать лет, — тогда меня из Духовного Училища выперли за чрезмерную любовь мою к вину и к военным под-

вигам. Как странно. Как казаку, мне удивительно трудно было туда попасть, и как потом принадлежность к Казачьему народу, помогла мне вылететь из школы с быстротой и легкостью невероятной.

Причудливо и затейно переплелась моя судьба с судьбой Гаморкина. Уж много написав о нем — целые книги, я догадался, что надо было начинать с нашей первой встречи, а то вот теперь, когда уже кой-какие мои записи о нем разошлись по рукам, — как их соберешь для исправления? Бегал я, собирал их между знакомыми, говорил:

— Дайте, я иначе намаракую.

Не дают.

— Пошел, говорят, к чертовой матери... Знаем мы вас — списателей, — дашь, а потом — ищи ветра в поле...

Эх, мать честная, что я наделал. Вот уж верно, кто с детства к какому ремеслу не приучился — лучше не берись. Со встречи моей надо было мне эти вот записки начать. Да-а, надо было перо, обмокнутое в чернило (из карандаша сам разводил) на бумагу поставить и так вот начинать.

Встретились мы с казаком Донским, Иваном Ильичем Гаморкиным в Новочеркасске, на Сенном базаре. Сидел он около своей арбы и пожирал огромный розовый арбуз.

— Гей, казаче! — окликнул он меня, — подь-ка сюды.

И когда я подошел, он чистосердечно сказал:

— Хороши у тебя штанцы-шальвары. Хороши... Иде ты, сукин сын, сукна такого достал?

— От деда еще, — похвастался я, хотя шаровары были у меня совсем новые и я за них все свои деньги в Березовской станице отдал.

— Ха, — усмехнулся Ильич, заглянув мне в глаза, — малый, а брехло порядочное.

Он стал закручивать цыгарку, а мне, страсть как курить хотелось, я к нему и присел. Через минуту его кисет был у меня, а около моего согнутого колена, стояла, напоминая чарку, полная сока, половина его арбуза. Мы разговорились, причем Иван Ильич называл меня — малец-станишник, а я его величал — отец, хотя он и был старше меня всего на пять лет. Это ему нравилось и под конец, узнав, что мы одной станицы, предложил съездить к нему на хутор и погостить. Так как я гулял по Отечеству своему — Войску Донскому, боясь показаться на глаза к батюшке и матушке, то с радостью согласился на его столь заманчивое для меня предложение.

Затем последовал ряд частых встреч моих с Иваном Ильичем, и служили мы с ним вместе, и всегда он мне рассказывал в свободные часы все, что с ним случалось в жизни и все, что он знал или слышал о Казачестве.

Не помню я фамилии, а слыхал, что при Наполеоне был историк и записыватель его жизни — так-то вот и я, — когда уже в зрелых летах начал записывать, говаривал Гаморкину об этом аналогическом случае. На это он мне отвечал:

— Далеко петуху до сокола.

Подразумевая себя под „соколом“.

— А ты, Кондрат Евграфыч, хуть и с одним глазом, а пиши по-крупней, по-понятней, што-б казаки разобрать могли, каки-таки дела занесены и пропечатаны.

Да-а, и вот какое я событие не занесу в тетрадку, Иван Ильич сейчас же чертой отчеркнет и распишется:

„Читал и все оказалось верным в етой кетрадке.

Каптенармус Гаморкин“.

— Без етого твоя запись ничего не значит, то-есть.

И сам страшно интересовался всем написанным и даже поощрял меня.

Иной раз нахмурится и сам говорит:

— Запиши-ка, станица, вот-ето: „У казака уму, што бурьяну, а у мужика — нет не шматка. Хоть кобыла безхвостая, да шашка вострая. Береги, казак, жану пушше глаза“...

И воодушевляясь, говорил:

— Уж так верно сказано. Не уберег значит, — баба и в сторону.

А бабы разныя есть. И заметь, раньше не любили казаки баб, как теперь. Как теперь именно. Теперь же, как пьяницы стали.

Раньше — целомудрие и бранное житие, а потом, стало-быть, по-чарке, по-чарке, да и пристрастились. До того пристрастились, индо жуть берет. Иного от бабы и не оторвешь. И песня есть такая:

„Я к губам прилипну и с нею помру“...

„Пчелочкой“ называется. Пчелочка там летаить вроде.

— Конечно, што-же? Сладкая ето и рискованная вещь! Нешто вроде хрукта. Скажем — вино-о-огра-ад, ананас, а то — ба-а-ба.

Как жердёла молодая, у которой и ветки гнутся, и цветы цветуть, и плоды родятся, и с которой ты вниз головой, когда она в срок войдет, сорваться можешь. И царапается, и плодами кормить, и тень тебе и благодать. Уходить, главное, от ней не хотится.

Взлезешь, скажем, на дерево, рвешь ягодки и лопаешь.

И вот есть жадные: объестся, и усей жизни у него расстройство, так и бегает до-ветру — мается.

А иной, сапожишшем ветку обломает, да и тоже — башкой в крапиву.

И срам, и морда, што пузырь.

Тут надо потихоньку; — поел, да и спускайся, покедова не проголодался. Спускайся, да рядом и садись. Закуривай, да и стереги; другой, што-бы не попользовался и ягодки не скрал. Поётся-ж:

„Жана молодая сына родила“... или

„Не верь, казак, словам обмана,

Кольцо другому отдала“...

Вот оно што — баба.

Уход бо-ольшой требует, иначе — лучше с ней и не связывайся. Будет у табе, к примеру, дерево, а с него ни взвар табе, ни варенье, ни нардек.

— А ты, Иван Ильич, баб очень любишь?

— Уж ежели усе, так и мы не отстаем. Кто их не любит? — сплевывал Гаморкин, — только к чему это отродье на нашу душу создано — не понимаю.

И тут, записал я первое увлечение Ивана Ильича женщиной. Так он мне его рассказал.

— Было мне годов пятнадцать, либо все шестнадцать, и приехали к нам в станицу студенты. Два студента и одна студентка. Подстриженная... Чубы знаменитые распустила на все три стороны. По бокам и сзади висят космы. А я, надо тебе сказать, красивый был казаченок — белый такой, красношшекай. Но морда у мине не круглая была, а как бы к низу удлиненная, и не так што-б уж очень. Чудок подзагорел я, кудри вьются и губы красные. Хоть куда, малец. Брови, к тому же, темные, к переносице сошлись. И вот интересная какая штука, я на нее и внимания не обратил, а она меня сразу разглядела, и что-то со своими загуторила.

— Типичный, говорит, вьюноша. Настоящий южный тип.

Тут и я на такие слова ея обернулся и ее заприметил. Типами-то, знаешь, кого у нас зовут. Немного я осерчал. Глазами на нее сверкнул и пошел дальше. Больше она мне так вот на людях и не попадалась. Болтали, что она за станицей пшеницу мерила, и какие-то кулечки на колосья одевала с непонятными надписями, на басурманском языке, но я, опять повторяю, с ней не встречался и мало этим интересовался — своих делов по горло было.

К уборке дело шло. Я, то в винограднике кручусь, то вырву часок, на рыбальство пойду. Домой редко наведывался. Фрукты с каждым днем поспевали. Созрели поздние вишни. И случилась такая вещь: что ни пройду домой, что ни пройдусь по саду, что ни загляну в халабуду — кто-то в ней целую груду косточек от вишень набрасывает.

Кто такой, думаю, нашим добром пользуется? Ну, станичные ребята обнесуть, да и утекають, а тут, видно, кто-то нарвет, в халабуду тут же в саду заберется, да и лопает тут же на здоровье. Дай-ка, думаю, подкараулю... Залег в бурьян, день валялся в жарищу — никого... Другой — никого, хоть-бы зверюшка пробежала... Третий — кто-то шмыг в халабуду...

Подполз я и ветки раздвинул.

И что-ж, Евграфыч, сидит это студентка на травке и вишеньки пожирает. Ах, ты, думаю, русская душа, до казачьего добра добралась; схватил ее за плечи.

— Ты что делаешь? — спрашиваю.

А она:

— Ах!...

— Я, — говорю в сердцах, — тебе так ахну, что по гроб помнить будешь. Так твою за ногу...

— Ой, — говорит, — пустите!

— Нет, — говорю, — шалишь. Пойдем-ка сейчас в Станишное Правление.

— Ой, — говорит, — не буду. Видит Бог!...

— Где, — говорю, — Ему тебя в халабуде разглядеть. Я тебя, суку, может три дня дожидался.

Тут уж и она вскинулась.

— Грубиян, — шипит, — гуниб!

— Это что-ж такое — гуниб?

— А такое!... Я, может, вас поцеловать бы за эти вишни могла бы здесь, все одно, никто бы не видал, а вы...

Головой стриженной махнула и чубы на все стороны разлетелись. Глаза стали что огонь,

искры из них так и сыплятся и кругом траву жгут. Сгорит, думаю, халабуда, да и весь сад в таком полыме-то. А она знай жару не жалеет:

— Может вас в самые губы бы, по московски, трахнула бы... Почем, дескать, и откедова вы знаете мои намеренья? Может я вовсе и не вишни ела, а вас дожидавшись, от скуки косточки в грудку складывала...

Веришь, Евграфыч, ажно в дрожь меня бросило. Мордой потянулся.

— А-ну, поцелуй!

Глаза зажмурил. Молодой же, дурак. Сейчас, думаю-мечтаю, она меня розовыми своими губами чмокнет-лобызнет.

Жду-пожду, —никаких ощущениев...

Жду-пожду, — ничего...

Что-ж, думаю, смеется что-ли? Открыл зеньки, а ее и след простыл. Обманула, разэтакая.

Да-а...

На том бы все и кончилось, да только из станицы нашей уезжая, она с Санькой, для меня цыдулку прислала, а в цыдулке было сказано:

„Милый вьюноша! При этом к вам печальная весть летит — мы уезжаем. Хоть я вас и не поцеловала, но кредит к вам имею, поэтому можете за поцелуем прискакать в Москву. Спросите Разумовскую Академию — каждый вам ее покажет.

Елена Гречихина.

— Ну?

— Да-а, проклятая, так и написала. А я, Евграфыч, так разсудил: чего я попрусь в эту

самую Москву. На край света, можно сказать, в захолустье. Шут с ней и с ее розовыми губами, а нам с Дону не съезжать. Попадешь в Академию эту самую — и рад не будешь. К тому же нашего брата там здорово любят.

Тут вишни таскала, а там, гляди, и без шаровар оставит.

Бог с ними, а Гаморкин за границу не ездок.

. . . .

Было это под-вечер. Сидел я на заваленке у своего куреня. Сижу и сижу. Потом смотрю это — кто-то верхом едет. Вгляделся — Гаморкин.

— Куда тебя, Ильич, несет?

— В степь проехаться, Кондрат Евграфыч.

— А зачем?

— А затем, что должен я одну вещь поразмыслить.

— Какую-такую?

— А кто был Стенька Разин. Одни его кличут — народный герой, другие — вор и убийца. От дедов многое слышал я о нем.

— Да ты расскажи сперва мне, что слыхал?

Не выдержал Иван Ильич, слез с коня, рядом присел — разбрехался в момент и в азарт вошел. Руками даже замахал, и так, и этак.

— Тряхни-ка стариной, историей тряхни, Кондрат Евграфыч, забеги с задов, не с той стороны, с которой люди ученые выставляют усе. А? Уразумел?

— Нет.

— Г-м... Пойми ты, мурло-человек. Скажем, — взялись казаки за чужой спас...

— Скажем.

— Так. И плывут они из Персии: Разин Степан Тимофеевич и братва, как один человек. Потихоньку. Никого не трогают, никого не задирают. Честь-честью — взялись за чужой спас. И вот только под Астрахань — тут в них из пушек — баба-ах!

Где же тут справедливость?

И в крайнем случае — не назад же? Раком... ть-фу, то-есть задом — один только рак пятится. Ну, и въехали они в Астрахань.

Разин и братва, как один человек. Набрали барахлишка разного и к боярину с седой бородой пристали, как один человек — как и что?

И почему у тебя народ крестьянский, русско-православный, недоволен и в проголодях живеть?

А он, боярин — важный такой, свою марку гнеть, достоинство поддерживаить, нос кверху, и бороду пустил по груди, на манер Ивана Богослова.

— Кого? — спросил я.

Но Гаморкин уже забыл про меня.

Боярин отвечает:

И где ему не жить, народу-то, как не в проголодях? Ежели забрался туда, так и сиди, — помалкивай.

Иван Ильич даже языком щелкнул от удовольствия — любил все изобразительно рассказывать.

— Скажем — боярин... Шапка на нем га-арлат-ная, воротник на зипуне тугой и высокий. Брюхо, — а на брюхе всего понашито,

и пуговки там, и гузики, и тентери-вентери позолоченные. В них по девице, а те девицы по соколу в руках держуть. Сбоку посмотришь, — красным огнем сияют, прямо — в варавань отдають. Одежа — клад. Вырыл такую, то есть снял ежели — так одно тебе в жизни и удовольствие, значит.

— И, вообще, — говорит боярин, — знать ничего не знаю, и ведать не ведаю. На то у нас от Бога Царь поставлен, а вы — шваль-дрянь и прочая рвань.

— Во-оо! Как их отбрил. Разина и братву, как одного человека.

И прочая в том же духе. А потом их всех шелудивыми псами обругал. Стенька же был горячий и вспыльчивый казак.

— Где, говорит, мне брат? А-а. Не знаишь?

Хвать его за воротник — да башкой в Волгу. Боярину — боярская и смерть.

И вот выходит, что Разин — убійца.

А иные называют — народный герой.

Теперь ежели он — герой? Забеги-ка, кум, с другой стороны. Порассуди. От убійцы, как известно, народ в разные стороны шарахается, окромя полицейских, а к Разину людей видимо и невидимо со всех концов пёрло.

И всяк орет братве. Братва — как один человек.

— Братцы-станичники, защитники вы наши!... ну, и так далее. Не люблю мужиков изображать из себя... А кто из них посмелей, в Разиновское Войско просится. Только Гаморкин...

— Какой Гаморкин? — удивился я — Ты же про Разина?

— А там! Перебиваешь. Дед мой, т. е. прадед Семен Иванович Гаморкин при ем есаулом состоял. Да-а.

Я еще ничего не понимаю, но Ильич уже дальше говорит, и речь его становится все плавней и оборотливей.

— Разин, скажем, сидит здесь, а Семен Иванович по правую руку. Кругом же их народ радостный и веселый платками машет, ура кричит, и по домам расходиться не желает. И встает тут Семен Иванович речь держать.

— Хоть вы, говорит, и неказаки, а то-ж понятиев в достаточной мере нахватались и уразуметь должны, что дурной жизни конец пришел. Землю всю поделите, благами пользуйтесь — ешьте, пейте и не работайте.

И обращаясь к Разину спрашивает:

— Как вы, ваше Атаманское Пресветлое Величество, прикажете?

— Чего? — спрашивает Степан Тимофеевич. — Ясное дело, чтобы все довольны были и плоды своих рук пожинали.

И выходит он — народный герой и освободитель.

Народ же радостный платками машет, к казакам жмется, на все стороны озирается, и, от счастья такого, расходиться боится. Запуганный, стало быть. А пуганая ворона и куста боится. Не всякий к воле привык. Иной на воле скорей погибает и в конец пропасть может, ежели его к ней сразу подпустить. Но это первое время.

Пошла жизнь в три раза лучше.

Народный герой!...

Конечно, дворянство малость поприжали, так его ежели не прижать — никому жизни не будет. Благородные. Так в лицо белыми ручками и тычут.

— Я, мол, потомственный дворянин. На мне свет держится, а кость имею особую и папа мой много воевал. Понял? Наши поступки всегда бладородные, и на груди волосья не растут.

И наскочил мой прадед на боярина Ксеберукого, а тот ему:

— Не убивай, — просит.

Да-а, человеческим языком говорит. Понятно так: „Не убивай, мол, Семен Иванович, меня. Давай сначала в шашки поиграем".

Смерть стало-быть оттянуть захотел.

Прадед мой, страх как любил в шашки резаться.

Сели они и, что-ж ты думаешь, кум, Семен Иванович ему все до чиста проиграл. Кроме, конечно, оружия. Потому в евангелии сказано: „Пей, но ума не пропивай"...

От такого позора прадед мой даже за голову схватился — что-ж теперь делать? Срам! Голым к людям показываться? Да и народ на улице, освобожденный, радостный, платками машет и не расходится.

Загоревал, пригорюнился — вынул шашку, да боярина и зарубил. Кто-то из братвы в курень зашел, увидел это и говорит:

— Как же так, есаул, без суда и следствиев? Хошь и дрянь-человек, а усе же?...

— А так!... Куда-ж ему мои монатки на тот свет нести — надорвется еще.

Забрал все свое проигранное, зипун снял и пошел на струг, в путь к Царицыну снаряжаться.

Дела-а.

Время было страшное. Взялись казаки за чужой спас, а себя спасти не могли. Только меня там, кум, не было — я бы иначе всю церемонию провел... Ну, досвидания!

Гаморкин надел папаху и пошел к коню.

. . . .

Помимо меня у Ивана Ильича было еще несколько друзей — Степан Никитич из Маныческой станицы, Иван Григорьевич из Нижне-Чирской и Михаил Александрович — Новочеркасской станицы. Михаила Александровича звали Петухой, это было прозвище, фамилия же его была совсем другая, ее я пока не упоминаю.

Говорили досужие языки, что Михаил Александрович, в свое время, был сильно увлечен Настасьей Петровной еще до ея замужества.

К чести Настасьи Петровны, она, выйдя замуж за Гаморкина, поклонников, своих хуторцев, совсем забыла, Ивану Ильичу никак не изменяла, полнела и все домашностью занималась и большой интерес к этому имела. Так что, занимали ее больше утки да куры, чем Михаил Александрович (буду, для краткости, называть его „Петухой").

Как видят, станичники-читатели, все шло по хорошему.

Гаморкинская льгота проходила: в работах по хозяйству, на рыбальстве, за чаркой водки; друзья по своим станицам жили, тоже

своим делом занимались; Петровна же, как было сказано выше, с курами и поросятами возилась.

И вот, приехал раз в гости Петухой.

Ехал он проездом и решил на два дня задержаться. А тут, надо вам сказать, стали ходить тревожные слухи. Ходят себе и ходят. Гаморкин, как чуткий человек, и одно ухо подставит, и другое, а как придет к себе до куреня, сядет на лавку, усы расправит, да и окликнет жену:

— Жана, а жана!

— Что тебе, Ильич?

— А знаешь ты, к примеру, что люди гуторят?

— Что?

— А то, что германец войну хотить устроить, да и — конец миру близок, яко-бы иде-то в Иркутском крест на небе видать было.

— Да слушай ты их больше, Ильич.

— Вер-на-а... Только ежели, Петровна, мир-то провалится, так Дону не погибать. А? И куды мы с тобой?

И смотря на жирную свою супружницу, искренно удивлялся Гаморкин.

— Эк, как тебя разнесло-то на Гаморкинских хлебах. Зад-то зад! Толстина невероятная... Ведь ежели и в правду конец мира будет, так с тобой-то не в одну дыру не влезешь!

— Ну, уж... — отмахивалась терпеливая Настасья Петровна. — Глупостев не говори. Понес уже околесину.

Спокойная была женщина Настасья Петровна, и оттого любил ее Иван Ильич подразнить.

— Околесину, не околесину, а вот твоя же знакомая, Варвара Семениха, и Киткина мать, о тебе опять речь вели.

— А какая-такая она моя знакомая? Што ты дынь шло-ль объелся?

Гаморкин продолжает, будто не слышит.

— Говорят, что твой отец в Польше когда был, на жидовке оженился...

— Она говорит? — бросая полотенце, озирается по сторонам Настасья Петровна.

— У меня, которая с хутора никуда не съезжала всю жизнь? У меня? Вот я-то до ней дойду, я то ей хвост из головы повыщипаю. Бреховка етакая... Чертыхвостка!

— Так что, — сокрушается нарочито Иван Ильич, — в табе, мать, не чисто казачья кровь а... разная...

— Как так — разная?... — теряется казачка.

— А так, скажем, половина — казачья, половина — жидячья. А я-то гляжу — брови и мигалки у тебя черные, сама же в волосах светлая. Думаю — в чем же дело? В чем причина такая? От чего, думаю — разница сия в волосьях? Ан, вот мне добрые люди и разъяснили. Все-то теперь и понятно для меня — какая-такая твоя порода, хоша ты усю жизнь с хутора и не съезжала...

Настасья Петровна от этих слов вдруг опустилась на лавку и крупные слезы выступили у ней на глазах. Она всхлипнула и стала плакать.

Ильич изумился.

— Да што ты? Ревешь? Ть-фу, бодай тебя черт! Да што ты, Петровна, иехнулась

што-ль? Ай я тебя за сердце тронул? Ну-у, работай себе там, работай, а я пойду! Во-о! Рази я знал? Тю — черт!... — плевался Гаморкин постыдно убегая из куреня.

Во дворе, не выходя на солнцепёк, с которого даже куры разбежались, он присел на приступочку и позвал меня.

— Кум, а кум!

Кумом он называл меня с тех пор, как я у него несколько лет тому назад, крестил дочь. Настасья Петровна опять была беременной и Гаморкин, мечтая о сыне, виду мне не подавал о тех своих желаниях.

— Иди сюда, кум. Пушшай Петровна нерв себе успокоить. С Нюнькой што-ли займется. И што я ей сказал такого обидного — не знаю. Ведь я же ее люблю-люблю, письма со службы писал-писал, — все, кажется, ей делал и делаю, а она рюмает.

Я вышел тихонько из куреня и хоть Петровна, быстро успокоившись, вытерла подолом лицо и опять принялась копаться в хозяйстве, мне стало ее жалко.

— Что ты, отец, жену забижаешь?

Он мне ничего не ответил. Задумчивые глаза под нависшими бровями мечтательно устремились вдаль, куда-то выше тына, так что он вряд-ли меня и слышал, вообще.

— А ежели, кум, и впрямь война? Опять значится. Был я против японца, а теперь — против германца придется идти. За японца крест у меня есть, а только не хотится мине в другой раз головой зря рисковать. Ну, скажем, ежели бы ен, германец, Дону войну-б объявил, што-б самому, скажем, степью вла-

деть и рыбу ловить, ну, тогда бы мы доказали. А то...

Как ты думаешь на етот самый предмет? Раскачались ли мы тогда-б? Если бы вся степь поднялась...

Иван Ильич вдохновился.

— Скажем, все бы станицы поднялись. В каждом хуторе всяк от мала до велика казак встрепенулся-б. А? Ведь ето што-б было? Весь-то Дон? Все Великое Войско Донское. Скажем — шестьдесят полков и шешнадцать батарей. На-кось, сунься. Я-б с сыном наперед... наперед... наперед...

— У тебя же Нюнька, дочка.

— Уйди ты, кум, репейное твое рыло. Вечно ты встрянешь куды не надо. Петровна, а Петровна, будет у нас сын скоро, ай нет? Слышишь, тебя спрашиваю, будет, ай нет?

— Отвяжись ты от мине — гудит из куреня жена.

— Силишша-б какая! Казаков бы:

— Козорезов? — Я!

— Персиянов? — Я!

— Греков? — Я!

— Гаморкин? — Я!

— Сын Гаморкина? — Я, черт меня побери с пикой вместе. Вот-он, сын Гаморкина, стоить рядом со своим батюшкой, на шашку уперся, нагайкой помахивает. Да-а, нас Донцов свыше милиона, да скажем, ежели Кубанцы поддержуть:

— Скибин? — Я!

— Чаусов? — Я!

— Улагай? — Я!

— Гамор... г-м...

А ешшо Терцы... Ты-то про Терцев, кум забыл?

Иван Ильич презрительно посмотрел на меня.

— Этакую-то ораву казаков забыть?

— Да я, Иван Ильич, молчал.

— Полно врать-то! Чёрти, о чем ты думаешь? Терцы там, разные. Так мы бы сами могли три года воевать. Может быть и могли бы. Не то, што там с немцем, против северных и южных американцев вдарили бы за мое почтение. Сильны мы стали, Евграфыч, сами только своей силы не знаем. Нам бы уже своего Царя заводить надо бы было, а мы под русским самодержцем живем. Пушшай он сам себя и содержит, а не гоняить нас с фронта на фронт.

Поуспокоившись, махнул Гаморкин рукой.

— Живешь в степи и не знаешь — твоя она или не твоя. И завоевали ее, и работали на ней веками, веками же, защищаем ее, кормилицу нашу, — а прийдет наказ — с Дону на Амур съезжать, и гоняют казаков Бог знает куда. Может туда и Макар телят не гонял, может там Кудыкина гора стоит. А?

Да вот, скажем, германец. Видывал я их. Народ толстый, из себя представительный, калбасу есть любит, и хоть себе на уме, а смирнай. Ни они казаков, ни их казаки, можно сказать, не трогаюгь. Да и чего, спрашивается, в драку лезть? Побьют казаков, еще меньше казачьего народу на Дону останется, и полезут тут на свободные места — пензенские, да тульские, да переяславские. А меня, к примеру, немец из-за куста с коня снимет — и нет меня в живых. Был и нет. Фь-ю-я!

Я, значит — фь-юю. Погиб за славушку казачью донской казак и каптенармус лихой. А в ето самое время, из Ивано-Вознесенска к нашему хутору кто ни на-есть и прилаптяет, в лаптях, значит, прибредет... и прямо к Настасье Петровне:

— Бабочка, — скажет, — жалмерочка... сдобненькая кинареичка...

Да разве я подобное потерплю, Евграфыч? Да я — мертвым прилечу. Что-б со всех-то сторон, в нашу Казачью землю перли, и нас от жинок наших оттирали? На наших кровных землях избы строили, да из наших ковылей лапти себе плели, а? Что-б к Настасье Петровне, Иванов, Иван Матренович, в бутылочных сапогах, с самоделковой балалайкой, и в картузе — приблизился?

Настасья Петровна с раскрасневшимся лицом выглянула из двери.

— Итить-те аладьи есть.

— Что-б это он — я кровью кого-то там защищаю, умер, наконец, я — фью-я! послужил чужому Царю, а он ко мне в пастелю со своими вшами...

— Кто? — прислушалась Настасья Петровна с открытым ртом. — В нашу пастелю? Про кого ты? Да я-б его...

— А про того, кто в картузе и с сумой шалается. Сидел бы уж в лесах и болотах, коли забрался туда с перепугу. В картузе который, а ну, подойди...

Расходился Иван Ильич.

А тут ворота рипнули — входит Михаил Александрович Петухой, коня в поводу ведет и, что самое главное, так это картуз на нем белый, летний и с козырком лакированным.

Услыхал эти слова Петухой, да и — обратно.

— Куда-а? — завопил Иван Ильич. — Куда-ж ты? Это я не про тебя.

— А кто тебя знает, — обиделся Петухой, — кричишь „который в картузе“. Даже рукой в мою сторону показал.

И к хозяйке поклон:

— Здорово дневали.

— Слава Богу, в курень извольте — нашлась Настасья Петровна.

Гаморкин крутил головой: не везет, дескать, сегодня.

— Ну, что, Ляксандрыч, каки дела у тебя?

— Дела, дела, — говорил, входя в курень, Михаил Александрович. — О войне языки чешут.

— И я слыхал, — оживился Иван Ильич — ешшо конец мира скоро! Все в трубу пролетим с потрохами своими.

— Молчи уж, — махнула на него рукой Петровна, боясь, чтобы не дошло до „жидячей крови“.

— И сын пишет из полка — прийдется и тебе, батяня, идти — продолжает Петухой. — Пожалуй, второочередные полки пойдут.

— От-жаш беда какая, — сразу поверив, всполошилась Петровна и поглядела с беспокойством на мужа.

— А что еще пишет Васятка? — допытывался Ильич.

— А пишет, что казаки думают, что тяжело будет с германцем. Ездил, пишет, он со своим командиром, есаулом Золотовым на станцию за патронами, так слыхал, на станции го-

ворили: что-б мы с нашими героями-казаками пропали?

— Всегда так, — ставя крынку с каймаком на стол, со злостью сказала Петровна, — чуть што — „ге-рои“.

Я взял ложку каймаку, потом налил себе масла на две поджаристые аладьи, все время внимательно слушая.

— А ты што-ж, кум, молчишь?

— Да что-ж. Вот вы лаптями возмущаетесь, а Царь-Батюшка вас в ласке держит.

— Во-о!! — открыл изумленно на меня глаза Гаморкин, — да ты что? Что за сумашедший дом такой. Бабе ничего не скажи, сейчас же в слезы, приятель в картузе щеголяет, кум совсем с ума спятил. Да что вы все — рехнулись што-ль? Не желаю я с вами аладьи есть!... Лопайте без моего участия. Пойду я настоящих казаков поищу. Знакомый приехал, говорится, другой кум, можно сказать, на всю жизнь удружили! А где у нас Войсковой Круг? А где у нас Атаман — Казак природный? А? Покатила какая-то... А по мне, ежели вы все в уме помутились... — выдергивая ноги из под стола и поднимаясь, гневался Гаморкин...

— Да я так, — урезонивал я, — да я так, — сболтнул.

— Где же тут ласка, скажи на милость? До последнего коня в войну — все с Дона сводить? Вить казаки-то ели-ели концы с концами сводят. Богатейшая земля была, а до какого разорения дошла. Срам один. На кого ты смотришь? На графьев, да на князьев, — так они только и обшиваются, а у меня в полку мой подъесаул рубль занимал — жрать было

нечего. Вы, — говорят они, — Дон по лености в запустение привели. Разбойничать да валяться на боку привыкли. А сами и не замечают, что нам руки во как скрутили, ни так тебе повернуться, ни этак, мать их так и перетак... — заругался Ильич. Петровна уши притулила рукой, а притуливши обратилась к мужу:

— Да успокойся — Кондрат Евграфыч шутку пошутил.

— Хороша шутка!? И кто же этим шутит, если казаки с Дону бегут, и из Казачества уходят. Сколько их живет у моря Азовского выписавшись, что-б торговлей заняться, либо ремеслом. Да рази наша жизнь — жизнь? Я, может быть, потом изошел двадцать раз, что-б каймачку своего покушать, а мине же этот каймачек германец из брюха штыком вывернет и коня к сабе уведеть. И кому, скажи польза, что Петровна по миру пойдет с Нюнькой и грудной малюткой? Что разве я казак — не человек? Разве я сам не найду, в случае чего, с кем мне воевать, как жить и кем управляться?

— Вер-но-о! — поддержал Петухой.

— Верррно-о! — глядя радостно на Гаморкина, учителя моего, вторил я во всё горло.

— Разве это так возможно, Иван Ильич? А? Возможно ли это так? Меня из Духовного за казачье звание выперли. Куда не повернись, везде у нас на Дону лапти-чиновники земства, и прочее понатыкано. Включая и „атамана“. А теперь не успел я пай обделать и курень соорудить и женой обзавестись и пай до дела обработать — на войну погонят. Еще

народов завоевывать и кровушку чужую пить. Нашей мало... Что же мы? Мы-то? Не казаки што-ль? Отвечай, отец Ильич, — не ккаааззакки-и? Ых-трра-тудыт твою...

— Что ты-ы? — успокаивал меня Гаморкин — ложку-то, ложку, погляди, сломал!

Глядь я, в самом деле, ложку я, об стол колотя, сломал и аладьи свои вывернул, растеклось масло Черным морем.

— Ну-у, казак...

Улыбался Гаморкин. Глаза у него сияли и с ужасным участием смотрели на меня. Все лицо его светилось, как мне показалось, некоторой гордостью.

— А Евграфа Грузинова забыл?

— Помню.

— А Кондратия Афанасьевича Булавина?

— Помню.

— А Степана Тимофеевича?

— Помню.

— А Емельку Пугачева, а Самойлова? А Уса? А Шелудяка? А...

— Всех помню, не для чего перечислять-то.

— Не боишься? как и они?

— Сейчас на виселицу. Веди-и, ну!

Петровна смотрела на меня с затуманенными глазами; Гаморкин прямо, на месте не сидел — то грудь расправлял, то ус к уху тянул, то жене подмигивал. Петухой, подмяв под себя картуз, улыбался.

Встретившись с ним глазами Гаморкин неожиданно вспомнил:

— Где твой картуз? Давай-ка его сюда. Вот мы его научим.

Лакированный козырек лопнул, согнутый пополам.

Иван Ильич выбросил картуз в окно.

— Так лети, да не ворочайся. А крестами нас под Иркутском не запугаешь, видали мы их и в Донской земле, а вот до конца мира поглядим — еще, кто на Дону хозяевами будет?

— Да подойди-же... Не боись... — уговаривал, вернувшийся с фронта в отпуск, Иван Ильич, сына своего Ѳомку, уговаривал так, будто бутуз-сынишка мог уже свободно ходить по куреню.

От радостной встречи, после долгой разлуки с нами, и от множества выпитого вина, даже в пот его вдарило.

— Ну, что-ж ты выкабениваишься, а? Ты-жа меня знаешь. Ведь я... — Гаморкин оттопырил палец и ткнул им себя в грудь, — Я, то-есть, Иван Ильич Гаморкин — твой отец. Папанька, стало быть. Самый настоящий отец.

Мать Ѳомки, Настасья Петровна, раньше, когда-то, в более лучшие времена, румяная, как наливное яблочко, пышная, как Ягорлыцкая оладья, рассыпчатая, как Арчадинские пески, а теперь, значительно похудевшая и побледневшая, усмехаясь смотрела, то на мужа, то на сына своего — дитятю с большими, пугливыми глазами.

— Лу-упо-гла-а-зай! — мотал Гаморкин головой, довольный тем, что у него теперь есть сын-казаченок, и такой уже большой.

— И когда он нарости успел?

Ѳомка имел крепкие ноги и бледное лицо. Бледность явилась результатом того, что мать, уходя часто на работу, в отсутствии Ильича, ушедшаго на Румынский фронт, оставляла его

одного в душном курене. Прикреплен был к куреню Ѳомка веревкой. Способ, даже очень простой. К потолку за крюк была привязана бичева, над полом устроена тугая петля, в петлю клалась подушка, на подушку Ѳомка, животом вниз — хочешь ходи, учись, хочешь, так просто, виси. Иногда моя Прасковья забирала Ѳомку ко мне.

Касаясь пола ногами, Ѳомка пытался делать шаг, да, сорвавшись, напоминая лягушку поджатыми ногами, качался из стороны в сторону; смотрел задумчиво на глинянный пол — удивлялся поди, как пол убегал под ним, то вперед, то назад.

Незавидная жизнь. Карусель тебе, не карусель — качеля, не качеля, так, черт его знает, что такое.

Когда стал Ѳомка мальчёнком, припоминаю, любил он и в мыслях летать. Чего-чего воспитание не сделает. Подумаешь, и-и-и, Господи, Боже мой, чего-чего. Лёт его мысленный, фантазия его, Ѳомкина, восторгали после и Ильича, и Петровну, и меня.

— Что может с него получиться? — вопрошали мы себя.

Это было потом, спустя несколько лет, а сейчас Ѳомка, смотря на вспотевшее лицо батюшки своего в черной папахе, лицо ему совсем незнакомое и к тому же называвшее себя каким-то „отцом“, раскрывал широко ресницы и с ужасом взирал, то на облупленный нос, то на облезлое серебро катушек на мундире, то на короткие, толстые, похожие на обрубки, пальцы Ивана Ильича.

Иван Ильич продолжал:

— Да-а... Твое, значит, основание мной заложено. И мать твоя — Настасья Петровна. Понял?

Я видел, что Өомке страшно, что Өомка хочет реветь. Тень тоски, как птица крылами задевает небеса, тушила первоначальный испуг и огоньки в глазах ребенка переломились и расплылись в обильно выступивших, накипевших слезах.

Гаморкин тоже заметил.

— Ты смотри у меня, не реви... Оно, конечно. Жить не всем вольготно и прочее такое, понимаешь? Особенно нам Казачьему Народу, нам подчас и очень даже тяжело. Но из соображениев, ты должен все уразуметь. Должен, так сказать, определить — что для тебя самое главное.

Ну, что? Сейчас вот? Скажу, а ты вслушайся, ето табе отец говорит, не кто друой, а родный твой отец — табе, ростить надо в первую голову. Рости себе, знай и... молчи. Рости и помалкивай. Будет время — многого нахватаешься и, кто знает, может Казачество в тебе спасение найдет. А твое заложение было и, так сказать хвундамент, во любви чистой и во согласии. Мамка тебя выносила отцу на радость, и не даром, наверно, мучилась и на блювотину тянуло. А благословил наш семейный союз отец Никодим — страшш-най поп, и отец диакон...

Гаморкин взглянул на дьякона веселыми глазами, а тот в тон ему:

— Вениамин!

Дьякон вытащил изо рта, из под усов, кусок таранки, отер широким рукавом подряс-

ника соленые, жирные губы и заговорил, по временам заливая слова водкой:

— А по крещении... глоток... наречен бысть... еще один... Ѳома-а.

Закусывая соленым огурцом, дьякон засмеялся:

— По-гречески же Ѳома, значит вертихвост.

Ѳомка тут разрыдался — то-ль обиделся, то-ль пожалел, что его имя в греческом переводе столь скверное значение имеет.

Петровна ходила как пьяная, хоть ничего и не пила, вокруг мужа, и только шикнула на сына; от этого шиканья Ѳомка заревел еще пуще.

От него все отвернулись и перестали обращать внимание. Все, кто были в Гаморкинском курене, а были: сам Гаморкин, дьякон, дедушка Панкрат (дядя Настасьи Петровны), Павел Иванович Лазарев и жена его Ольга Васильевна, сидевшая в сторонке, Петухой, приехавший по столь торжественному случаю, Станичный Атаман Ротов, Фрол Петрович и Писарь с простреленным ухом, без фамилии, а с прозвищем „Титяй“, я — Кондрат Евграфович Кудрявов и мать Ѳомки, Настасья Петровна с моей Прасковьей. Почти все мы пили вино и водку. Пили по одиночке и все сразу. Говорили все шумно и горячо. Я же наблюдал за Ѳомкой. Он, проплакавшись, стал смотреть на всю компанию во все глаза.

— Это Ѳомка, — сказал я ему, указывая на водку, — не вода.

Ѳомка недоверчиво косил глазом.

— Не вода это! Это водка: хам — и выпил все. Видишь? Ни капли.

В это же самое время, когда мы с Ѳомкой вели, нам только понятные, между собой разговоры, Станичный Атаман что-то стоя говорил. Стоя он говорил по причине малаго роста. Он был при шашке и шашка, вылезая над столом, за которым все сидели, на пол аршина цеплялась головой своей, напоминавшей куриную, самым своим медным начищенным клювом за большую синюю кострюлю с варениками.

— Видишь, — сказал я Ѳомке, — шашка есть хочет. Ишь. Дадим ей вареник, чтоб она немцев лучше клевала.

Речь Фрола Петровича была мало понятная, все вертелось около хозяйства. Остальные пили, закидывая голову, крякая и облизывая губы, или морщась и сплевывая.

— Мы, Иван Ильичъ, твой пай сдавали в аренду и коня твово, что взамен сдохнувшего, табе купили, выплатили. И ен таперь твое. И никто его у тебя отобрать не может. Урра-а-а!

Все кричали — ура-а-а!

Дьякон гудел и рыкал вопросительно:

— Зза ко-го?... З-за кко-ня? — и заискивающе глядел на вошедшего и подсевшего к столу попа. (Поп-то был уже другой, не страшный — тот помер, но этот тоже был справедливый, казачий поп. Больше молчал).

Ѳомка поджал ноги и стал летать.

Чуден и грозен вставал мир перед казаченком. Ѳомка даже зажмурился, а когда открыл глаза, то все уже стихло.

Писарь Титяй, с простреленным ухом обнимал Ивана Ильича Гаморкина.

Дьякон, так мне казалось, вдвое стал толще, от выпитого неимоверного количества всяких напитков. Может тоже почудилось и Өомке, может спасая общее положение, Өомка стал... мочиться.

— Глядит-кошь... — прошамкал Панкрат — шын-от твой опозорилшя. Глянь, Иванушка, што шыночек твой Хвомушка натворил.

Все уставились на Өомку и я, тоже, а он махал руками и ногами — я, мол, тут не причем, я, мол, для вашего же спасения — пьете, пьете, этак и лопнуть можно.

Мать суетилась, отец улыбался и грозил:

— Ты што-ж, стервец? При всём-то честном народе?

Засмеялись, а Атаман сказал:

— Усякому овощу свое время. Он еще не казак по настоящему. Писарь же Титяй хихикнул и подмигнул Ольге Васильевне — не без вашего-с полу.

Потом все зашумели на всякие лады. Чтобы лучше слышать, дедушка Панкрат прикладывал к уху руку, сложенную трубкой. Все говорили и только молчали: я и Өомка.

Павел Иванович Лазарев тихонько пел „За Уралом, за рекой“, и качал головой. Лампасы у него были шире и светлее чем у всех. Сапоги же — низкие с загнутыми от носки и долгого времени носками. Скромной и светлой души был человек — Павел Иванович Лазарев. И я, и Өомка чувствовали к нему уважение и симпатию. Өомка к нему даже потянулся.

— У-а! А-у-у!

Но кто мог его, кроме меня, услыхать в таком гаме? Горячился Гаморкин, отвечая Атаману:

— Где справедливость? За коня отработали на своем здоровьи жена моя и дети. Я воюю — второй год уже к концу идет. Спасибо, нечего сказать. Настаська моя чуть было не надорвалась с одной-то кобыленкой. Нюнька голая. Сын бледен и худ. А Петровна... Иде ея толщина? Иде? — наступал Ильич на Атамана. Тот озирался по сторонам и разводил руками:

— Шут его знает, иде она, ея толщина.

— Не знаешь, а я знаю. Ведь она пуда два збавила. Слушай ты, Ротыч, лицо избранное — рассуди! Я воюю, кровь проливаю, жизнь моя ежечасно на волоске, на соломинке, на гвоздочке, можно сказать, висить. Снять ее или порвать — раз плюнуть. Воюю я и знаю — дома-то, дома: Петровна без моего пая, да с дочкой, да с грудным младенцем, да со стариком моим одна перебивается. Сердце-то у мине не болит что-ли? Его, сердце, может сбоку совсем и не видагь — оно, скажем, во внутрех... и оно, ох, как болит. Кто же это казака, наконец, поймет. Кто? А?

Атаман, лицо избранное, встал. Шашка вылезла и клюнула в миску.

— А што-ж я могу? Ежели приказ, Ильич, — усе што-б на конях. Мово-то достатку, сам знаешь. А у тебя конь и сдохни. Ведь не ты один — вся станица из сил выбилась. Ведь у нас теперь-то — не хлеб тебе, скажем, растет, а чисто верблюжья шерсть.

— Верно-о... — рыкал дьякон — за кого? За верблюжью шерсть? Урра-а!...

— Что-ж мы? Кто на нас посмотрит. Да разве в старину у Атамана такая власть была? Да и есть она у нас вообще какая нибудь? У казаков-то? Разве мы можем приказу ослушаться? Ведь он из Москвы к нам идет. Ведь ето — го-о-сударственный антерес так требует — оправдывался Ротыч, а шашка клювала и клювала.

— Начальство! — ехидничал писарь и подмигивал Ольге Васильевне: твой то Павел Иванович песни запел. Без вашего брата нам все равно не прожить!

Светлой души человек, Лазарев замолчал вдруг и потом тихо сказал:

— Стой, Ильич! Придет и наше время! А сейчас... не хлебом одним жив человек — и поднял свою чарку.

Все согласились, один поп сидел и молчал. Справедливый. А Ѳомка что-то лепетал, свесив голову, и ловили его широко открытые глаза темное пятно на утоптанном глиняном полу — то уходило оно, то опять вырастало — качался Ѳомка.

А в курене, заливая и радость и горе, потекла песня:

„Сы-ы а-адна-го кра-ая Кавка-аза,
На другой ево-о конец перш-аг-не-о-ом“...

Качался Ѳомка. Качалось казачье дите, ждала и его подневольная горькая казачья судьбинушка — службишка за Веру, Царя и Отечество. А Отечество, не Дон, а другое — здоровое, здоровое. Одна шестая всей суши. А в нем лодырей и дураков?... Сидят они у какака — вот-тут-во!...

Иван Ильич был в отпуску, а я ведь инвалид — без глаза, потому до времени сидел

дома. Всколыхнул всего меня его приезд.

Ходили мы с ним от церкви по улице до куреня и обратно. Мерил он шагами расстояние, опустив голову, и смотрел на свои сапоги. А лапа у Гаморкина была здоровая, как и рост, был его лапы сорок девятый номер. Смотрел он и приговаривал:

— Еду я, кум, через три дня опять на фронт. Ты тут того, не очень скучай. Трудись помаленьку. Да, еду я через три дня. Прежде этого надо мне командира жинку в Черкасском проведать — есаульшу. Ей письмо передать, а сынку — штык и каску немецкую. Хотишь поедем вместе, все лишний час будем иметь. Поедем на-пару, а?

— С превеликим даже удовольствием, — радостно соглашался я.

— А уж ты, кум, пригляди тут за Ѳомкой. Подсоби Петровне в случае чего. Сам знаешь. Прикрикнуть можешь и вообще... Понял?

— Все понял Иван Ильич, не беспокойся, отец, — все в должном порядке будет. И в Черкасск тебя провожу и там напоследок погуляем по казачьи. Не бойся, живы будем — не помрем.

Так я его утешал, но Гаморкин был не такой человек, чтобы раскисать. Стальной был казак. Отвернулся от меня и о другом заговорил.

— Что такое, Кудрюмов дом сгорел?

— Давно уже. Зимой. Уголь непотухший высыпали в ящик. Как свечка загорелся. А снег на нем тает, ручьями вода бежит, как пышка поджарился и черным дымом в небо улетел. Труба вот стоит, видишь?

— Вижу. Труба. Скоро нам всем, кум, труба придет, чует мое сердце. А где же старики Курдюмовы?

— У Киткиной матери живут на низах.

— Да-да, помню. Что-то мне Китка на фронте говорил подобное. Как же это я того, забыл? Г-м... — Гаморкин усмехнулся. — Уж не старею ли?

— Ну... — засмеялся я, — старость казаков боится. Для нас пуля где нибудь делается, либо шашку куют.

Через три дня собрались мы с Ильичем и поехали с поездом в Черкасск. Когда поднимались по Крещенскому спуску, нашло на Ивана Ильича прорицание какое то.

— Знаешь, Евграфыч, болит у меня сердце, а с чего — не пойму. Вот и собор, мы вышли на площадь, вот и Ермаку памятник, вот и Бакланову, все как есть на своем месте, а иной раз случается на позиции заснешь, и все это как бы иным представляется: вижу я будто Бакланова памятника и нет совсем, собор пооббился и позолота облезла, а Ермак весь зеленым мохом порос и так это грустно глядит. А еще вижу: стою я посередине этой нашей Войсковой площади на коленях и молюсь о чем-то, крепко так, слезно, а сзади чей-то голос. Густой такой. И кажется мне, во сне, понимаешь, будто Ермак мне говорит:

— Встань, казак Гаморкин! Разные были времена, а казаки не погибали и не погибнут. Тяжело будет, так тяжело, что хоть руки на себя наложить, а ты помни, что ты казак. Песню возьми и запой, какую повеселей. Скажи какую нибудь прибаутку — казаков рассмеши. Дух у них подними. Мала твоя заслу-

га будет, незаметная будет, а велика. Другие в тебе черпать силу будут. Запомни, Гаморкин, что я тебе сказал!

Тут я, кум, и проснулся.

— Что, Евграфыч, страшно ведь, а?

Иван Ильич покосился на Ермака, прочитал вслух набитые на скалу слова:

„Ермаку — Донцы“.

— Ишь, Донцы это ему поставили. Мы поставили, никто нибудь другой. Такой-то во сне приснится гигант — страшно-о!

Гаморкин еще раз с уважением посмотрел на темного Ермака и неожиданно столкнулся с какой-то дамой в каракулевом саке. Так как он на голову был выше ее, то перо ее модной шляпки, возмущенно мотнувшись, помазало Ильича по усам, а под самым носом голос женский, тонкий и чуть-чуть в нос, произнес:

— Господи, какая верзила! Лезет и не извиняется: шли бы по мостовой, если ходить по тратуару не умеете.

Дама пошла дальше, а мы с Иваном Ильичем сошли на мостовую, перешли к аллее и остановившись, долго, сконфуженные, смотрели ей вслед, пока она, обогнув памятник, не скрылась за углом. Гаморкин посмотрел на меня, в его глазах светилась какая-то затаенная мысль.

— А что, кум, если-б ее Ермак невзначай толкнул?

Я удивился вопросу.

— Думаю — улыбнувшись ответил я, — что и ему бы досталось.

— Ну и ну. Вот бабы пошли. Прости

Господи. Порядочному казаку хоть не ходи по улицам. Как это она сказала?

„Коспади, какая верзила“.

Иван Ильич недобро усмехнулся.

— Нет ли, кум, сходства с этим вот выражением: „На коре куси кокочут, под корой — дэждь лупя“.

Вот тебе и — Казачья Столица.

Весь остальной путь до Троицкой Церкви мы прошли молча.

Есаульша нас тотчас же приняла, усадила в столовой за стол кофий пить, начала интересоваться. Рада была, как родным. Пытала Ильича о муже. То смеялась беспричинно, то вытерала украдкой слезу. А сын ея лез Гаморкину на колени, успев уже одеть каску и прицепить штык.

Наелись мы и напились.

— Жив он и здоров. Что ему сделается? И я при нем...

— Как же что? Ранят, заболеет. Мало ли что может случиться.

Есаульша боялась сказать — убьют.

— Ну, дык волков бояться — в лес не ходить! — философствовал Иван Ильич.

— На то она и война, Ляксандра Федоровна.

— Дядинька, — лез мальчёнок, — а у папы много таких больших казаков, как ты?

— Больших казаков? — уже утешал ребенка Иван Ильич, — казаков вообще у папы твоего много, а таких как я, если с пяток найдется — хорошо. А то, и того нет. Да и нет-жа! Один я. Один — как перст.

Гаморкин показал мальчику палец и засмеялся.

— Ну, а как — белье, одежда, цела ли? Что еще передавал на словах?

— Все цело. Все как есть на своем месте! Говорил есаул, чтобы сына берегли — казак будет.

— Казак! Буду казак — сверкнул глазенками мальчик.

Я сидел скраюшку и весело мне было, и тяжело. Мальчёнок уцепил Ильича за усы и дул ему в нос, а Гаморкин, отворачиваясь и отбиваясь в шутку, говорил есаульше:

— И я своего оставил на хуторе. Только мой куда меньше вашего.

Ребенок побежал в другую комнату и принес маленькие, сшитые по его росту шаровары.

— Вот — захлебывался он и, протягивая поясок с серебряным набором, говорил, — вот, и пика есть, на дворе!

— Ты-б еще, — недовольно морщилась мать — и пику притащил в комнату.

Сын вертелся кругом радостный от того, что все с таким вниманием рассматривают его казачьи доспехи, потом уставился на меня. Моя молчаливая фигура видимо его заинтересовала.

— А ты? — спросил он.

— Я? Я — кум его! — отвечал я. — Он у меня герой. За двух воюет, за себя и за меня сражается. Каптенармусом он!

— И за папу?

— Папа твой, братец, сам за себя постоять может. Не маленький уже.

— А я маленький.

— Ты-то маленький, это верно. Ну, да ты не горюй. Если что — так мы за тебя и за маму все трое встанем.

Есаульша, кокетливая такая женщина, усмехнулась и повела Гаморкина показывать хозяйство, по двору и по саду. Я же сидел в гостинной. На столе лежала какая-то толстенная книга. Дотронулся я до нея, отвернул корешок, — журнальчик иллюстрированный, „Нива". На первой странице амуры нарисованы и стихотворение:

Любовь тогда лишь глубока,
Когда она созданье веры,
Когда ей нет конца и меры,
Когда с ней жизнь и смерть легка!

До конца я не прочитал, вошла есаульша с Гаморкиным. На глазах у нее все время стояли слезы. Говоря о муже, она не могла себя сдержать.

— Ну, вот вы все и видели, станица, — говорила она, — так и расскажите, все что видели! А в доме, скажите, мыши завелись — покою нет. В картонке фату съели. Вот такая дыра!

— Мы мышеловку поставили — объяснял мальчик, — круглая такая и сала кусочек положили.

Потом мы пошли на станцию. По дороге зашли выпить. Гаморкин быстро захмелел.

— Что-то у меня, кум, голову крутит — может в вино табаку хозяин подмешал. Вкус у него странный какой-то.

Мерещилась ему дама, встретившаяся нам на Ермаковском, он бил по столу кулаком:

— Подать мне даму, которая в каракуле и с пером. Я потомственный природный казак, а не **верзила**. Разве я, кум, верзила?

Тут пришлось и мне его утешать и уговаривать, как ребенка.

— Казаков много, но уж ты казак — всем казакам казак.

И в первый раз увидел я, — заплакал Гаморкин.

— Пером за нос зацепила, штрепыхвостка, да еще и обругала. Наш Разин таких, как котят в Волгу шыбал. Да и не таких вот, а княгинь Персидских. Но смела. Смела окаянная, смелостью меня и победила и в обалдение привела, иначе обломал бы я ей бока.

— Так это-ж женщина...

— Гад всегда гад, какого бы он не был полу. И пусть скажут, что это плохо, пускай, но ты если слабое созданье, то другого не тесни, не измывайся над другим. Видишь ли, Евграфыч, тесно ей стало! Шли бы по мостовой — нас, казаков, согнала с плитуара. А сама-то на Дону — без году неделя. Перо нацепила. Я этих „барынь московских“ враз узнаю. Сравни-ка, кум, вот мы у есаульши были. Есаула жена — сотенного командира, человека заслуженного, и как нас приняла с тобой? Тут тебе — кофий, тут тебе — молоко к кофию, тут тебе — булка к кофию, тут тебе и маслице для булки...

К нам подошел, узнавший нас ветеринар Петр Карпович, наш знакомый.

— Здоровеньки были.

— А-а. Здрасьте! Давно ли в Черкасском?

— Да вот, служу! А вы, куда и зачем?

— Гаморкина, на фронт провожаю — сказал я.

— Меня он, — подтвердил Ильич, — верно его слово, станичник ветеринар. Садись к нам, ваше благородие.

Обидели меня в Черкасском. Расчитывал я в столицу нашу казачью, честь честью наведаться, кого надо повидать — и что-ж ты думаешь? Идем это мы по Ермаковскому и вот нам навстречу — купчиха российская, Донской Области хозяйка. Прочь, говорит, с плитуара, так вашу и перетак.

Гаморкин, подливая вина, обстоятельно рассказывал трагический, случившийся с нами случай, а я рассматривал помещение трактира, в котором мы сидели. Мне раза два показалось, что он будто и преувеличил некоторые факты, но я понимал его — человек в обиде, да и к тому же — подвыпил, на фронт едет. Там ему вина долго не видать. Здесь и то трудно достать. Нам в чайнике подавали и три шкуры за него спустили.

— Если уж до того дошло, что нас перьями гонят — пришли нам концы... — сокрушался Гаморкин.

Вместе с Петром Карповичем мы его успокоили и повели на станцию. Взобрался Гаморкин в поезд, прислонился головой к притолке открытой двери в теплушке.

Потом сел, опустив ноги из вагона. Наступил вечер. На станции Новочеркасск, зажглись редкие огни. Паровоз засвистал и дернул состав. Поплыл мимо нас Иван Ильич.

Выносил его поезд из душного города и бежала навстречу родная раздольная степь. Крутились снопы искр. Гаморкин же, наверно, глядя на них, думал свою думушку: что мы были и до чего дошли...

К концу Германской войны забрили и меня. Чем я им понравился — не пойму. Вставили меня в Четвертый Армейский Корпус, в Восьмую Особую Сотню, а в ней — нос к носу, вот совпадение-то, я с Иваном Ильичем столкнулся. Его перевели как раз из 26-ой Отдельной. И пошла у нас жизнь вместе. Да так вот до конца и пребывали. А конец знатный был.

— Знатно, кум, повоевали, — говорил Гаморкин, — знатно.

Это выражение он говорил так часто, так часто его повторял, что оно для меня уже утеряло весь свой смысл, всю обидную свою остроту.

— Поехали биться, а стали мириться. И что же получилось, какая история вышла? А такая — побил японец, побил и немец. Знатно повоевали. Прямо на все Боже Царя Храни. Кум, мой кум!

Мы с Иваном Ильичем: он, как каптенармус, я — так; ехали на тачанке. По бокам шло конными двенадцать казаков, два младших офицера и есаул — командир Особой сотни. На подводе, кроме нас двоих, сидел еще деньщик и лежал денежный ящик, а также несколько люисов. Сзади за нами, в трех саженях, тарахтела походная кухня с кашеваром Иваном Даниловичем и молодым казаченком-помощником. Кашевар первый человек в сотне после Гаморкина. Всего, значит, двадцать человек. Это все, что осталось от сотни.

Есаул понемногу отпускал казаков партиями на Дон, когда нас осталось немного, столько, что мы не особенно привлекали внимание товарищей, и мы тронулись с фронта в путь дороженьку. На Дон со всех сторон шли Казачьи части, но одно дело было пробиваться полку, а другое сотне. На Дону уже правил Каледин и нам в догонку нередко слышались ругательства и посулы. Итак война окончилась, назревала другая — национальная; между Россией в лице миллионов, переодетых в солдатское, крестьян — и Казачеством, воскресившим и былой уклад жизни, и былые традиции свои. Но она только назревала, о ней можно было только догадываться чутьем, как чуяли все эти господа, что бежали в Казачьи Края, за казачьи спины, а сейчас еще вопили:

О „Мире без анексий и контрибуций", о „Мире и хлебе для трудящихся" и т. д.

— А знатно повоевали, Ваше Высокоблагородие!

Есаул покачиваясь в седле, щурясь смотрит на Гаморкина. Между ними, мне кажется, устанавливается какая-то связь в понимании друг друга. Встретившись глазами, они разводят взгляды. Им стыдно друг на друга глядеть. Да нам всем было стыдно.

Гаморкин плюет с тачанки на дорогу.

— Можно сказать — один Кузьма Крючков и воевал.

— А ты? — шутит офицер.

— Да я, Ляксандра Ляксандрыч. Я — Иван Ильич Гаморкин. Истинно ваше слово. Кто же еще? Не те ли, кто снаряды с песком на позиции присылал, патронов нам не наделал, кого нагайками в бой гнали. Ведь мы од-

ними пиками и орудовали. Хо-хо-хо. Тяжело честному казаку на этом свете! — вздыхал Ильич.

Как-то там Настасья Петровна с твоей Прасковьей Васильевной перебиваются? Өомка-то совсем подрос, пострелёнок. Слышишь, кум, а, кум, что не весел, буйную повесил, давай песню заиграем.

Он затягивал, а я подсоблял. Голос у меня — козлячий баритон. На одной ноте все тянуть стараюсь. Боюсь и вверх лезть, и вниз опускаться.

„Быть может бы-ыть, стальная пу-уля,
Из-за кустов сразит меня-а“...

Нам казаки заунывно подтягивали:

„Из-за кустов срази-ит меня“.

Печальной выходила наша песня, кони и те чуяли ея печаль, и шли, помахивая грустно головами, острили уши.

„Как набегут дикие зве-ери,
Растащут тело-о по куска-ам“...

И казаки подтягивали:

„Растащут тело по кус-ка-ам“.

Но это так сказать прирассказец, а рассказец-то впереди. Так-то вот, возвращаясь с Румынского фронта, рассказывал мне Иван Ильич свою родословную. Откуда он ее знал?

— От деда моего Өомы Өомича досталась отцу моему, Илье Өомичу книжечка, из табличек составленная. А потом и дед мне говаривал — мне и отцу:

— Шынок мой и внучек, Ивашка. Много етой книжице лет. Много веков тому назад началась она, когда один из Донских казаков Гаморкиных томился в плену в Визан-

тии, а потом убежав, укрылся в одном из греческих монастырей. До него все шло по памяти: кто был, как и при ком. А он, обученый монахами-греками, прошлое все припомнил и записал. Когда на Дон к старости вернулся, тут еще кое-что в начало книжицы вклеил — дома уже найденное, написанное на чудном языке, на калмыцкий похожий. На Дону передал он книжицу взрослому своему сыну и приказал записать детей своих, а чтобы его дети — своих и так далее в роде. Вот и ты, Илья, преподай сыну своему Ивашке (мне тоесть) сию исчислению родовую. И начал тут меня, кум, отец учить. Бил по страшному. Так я так запомнил — на камешках. Наберу голышиков и положу сперва три в ряд, один под другим — это Ѳомы Ѳомичи, потом четыре места пропущу — тут Илья путается, потом одного Ѳому Ѳомича вправлю, потом пять мест пропущу — тут опять имя Илья и Айседора входють, ну и так далее. В голову же ставлю Силетия Гаморкина.

У меня даже свой систем создался, а основой послужили, скелетом, значит — Ѳомы Ѳомичи — было их девять человек. Много есть и пропусков. Непонятный же язык перевел в Ростове один иностранец — француз, Азии следопыт. К тому же память, как ты сам знаешь — у меня богатейшая.

Нарисовали мы Родословную Ивана Ильича в тетрадке и привожу я ее целиком. Потом, конечно, дома, Гаморкин ее исправил по старой книжке, но и я, и Иван Ильич думаем, что пропусков в ней много, особенно, где старые, прямо старинные года идут. Несмотря на то, что предки-авторы, люди были мало

образованные, можно сказать, совсем не образованные, то запись разными почерками написанная, могла быть и не их, а исполненная по просьбе более обученными в письме людьми. У предков, несомненно был к книжице интерес, а может какое нибудь и родовое суеверие, что если, скажем, детей не запишут, то не будет им в жизни хорошо.

Все это, записанное, было безсистемно и расбросано, а иногда кроме имени ничего и не стояло больше, но только, начиная с Ильи Ильича жившего в Болангиере (Итиле), в столице Хазар, кончается странный язык и попадаются руские слова. Не пишу я все данные о каждом Гаморкине в отдельности — это, быть может, явится вторым моим трудом о Гаморкине, а просто приведу краткую справку, чтобы к другу моему, славному и знаменитому казаку, Ивану Ильичу, некоторые прониклись вполне заслуженным им уважением — ежели не к нему, то хоть к предкам его — храбрым казакам.

В этой справке, как и в книжке, Царей и других Правителей будет отмечено немного, да и не в них дело.

РОДОСЛОВНАЯ

казака

Ивана Ильича Гаморкина

СКИФЫ

(их Царство и казаки)

СТАРШИЕ:		Примечания
старшины, клановики, шубаши, впоследствии Атаманы:	Гаморкины в порядке рождения. Главная ветвь:	И. И. Гаморкина и кума его, Кондрата Евграфыча Кудрявова.
Аксай Симеон Раздор Раздор-Верный	Силетий Гаморкин Ѳома Силетич Ѳома Ѳомич	

САРМАТЫ

Аркадий Белая Калитва	Ѳома Ѳомич 2-ой	

ОСТГОТЫ

Генман Рих

Черкас-Ужи Иван Хомутов Тихон, Кривая Нога (должно, из Кривянки).	Ѳома Ѳомич 3-ий	Рыжий

ГУНЫ

Аттила

Шеремет Разин	Илья Ѳомич Ѳома Ильич Илья Ѳомич	

МЕЖДУЦАРСТВИЕ

Гуны ушли и никого не было, управлял за это время казак Өома Ильич Гаморкин. Потом опять власть в Степи раздвоилась с приходом Хазар. Жили между собой дружно и не ссорились.

ХАЗАРЫ

Сары-Арпачанин	Өома Өомич 4-ый	Рыжий
Ванька Кагальник		Сколько рыжих прости Господи!
Каган		
Сула		Прим. Гаморкина.
Фролов Семен Прохорович	Илья Өомич	Войсковой Писарь
	Илья Өомич	Посол от казаков в Столице Хазар городе Балангиере, на Волге.

Война с венграми, печенегами и торками. Тут всего было и все перемешались и россы и инородцы. Побито было народу — страсть. Подробности неизвестны, но существовали от Гаморкиных.

	Стрелопонт Ильич	Печенеги ухлопали
	Өома Стрелопонтович	
	Айседора Стрелопонтовна	Вот, станичники, баба была!
	Өома Өомич 5-ый	Не рыжий

ТЬМУТАРАКАНЬ

Старая Казакия.

Города: Осинев, Балин, Сугров, Шарукань, Казачьи городки.

Сары-Аз-Ман, а за ним уже известные славные Атаманы-Молодцы	Өома Өомич 6-ой	Рыжий
	Илья Өомич	
	Илья Ильич	В Сибири был с Ермаком, женат на дочке (младшей) Кучума. Умер не на Дону.

	Иван Ильич	
	Семен Иванович	Выбирали для России Царя.
	Иван Семенович	
	Семен Иванович	У Разина есаулом был. Погиб у Самары.
	Ѳома Семенович	
	Ѳома Ѳомич 7-ой	Рыжий

Тут Петр Великий немного расчистил Казачество. Конец Старой Казакии. Смерть Кондратия Булавина. Погибли на обломках своего Государства Гаморкины:

	Иван Ѳомич	На плоту плыл повешенный в Черное море. Причалил в Керчи.
	Илья Иванович	

РУССКИЕ

(ихняя Империя)

	Илья Ильич	
	Ѳома Ильич	Пугачевцы
	Семен Ильич	
	Ѳома Ѳомич 8-ой	Не рыжий
	Ѳома Ѳомич 9-ый	Рыжий
Граф Граббе	Илья Ѳомич	
Покатило	и Иван Ильич Гаморкин...	

Тут мы передохнули с Ильичем и продолжали дальше:

	Иван Ильич	Дочь его Анну Ивановну мы не занесли, так как из бабья, одна только Айседора Стрелопонтовна такой чести удостоилась.
сын его	Ѳома Иванович	

— Стой, сказал Иван Ильич, разве мы не можем и дальше распределить, как им сукиным детям надо называться-а?

— Неловко как-то, кум. Они-же не родились еще.

— Чего там, не родились. Пиши.

Конец Российской Империи — Великая Безкровная Революция. Война Казаков народная, за Освобождение. Несколько смутных и тяжелых лет, затем:

СОЮЗ КАЗАЧЬИХ ГОСУДАРСТВ

(Новая Казакия).

Атаманы:
г-м, г-м... Илья Өомич
Илья Ильич
Өома Ильич
Өома Өомич 10-ый Ры...

— А вдруг он не рыжим будет. Родится вдруг не рыжим. Ведь бывали же случаи в роду? — сомнительно покачал головой Иван Ильич.

— А вдруг он сивый, либо чернявый. А могеть так случиться, что и без волос вовсе. Тогда что? Кум, а кум! Ведь тогда весь мой авторитет и все значение поколеблется у моих предков-а? От, Боже-ж мой. Что же сделать такое? Поставь-ка, кум, одну букву — Ры...

Если будет рябой, то припишут — Ры-ябой, а ежели рыбалка, припишут — Ры-балка. А если в Москву уйдет, или из Казачества — припишут Р-уский человек, хоть таких случаев в моем роду не бывало. Ну, а если уродится рыжим, чему я, для поддержания славных предков: отцов, дедов и прадедов, и что не-наесть закону точному и многобразному — рождений и умираний, буду весьма

рад и чего желаю от всей моей души, припишут тогда — Р-ыжий.

Ну-ну, пиши дальше. А там поставь только — „Ры“...

Так значит мы боковых дедов и братьев и дядьев во внимание не берем, иначе со всеми ними вся Донская Область наберется.

Жарь дальше — по главным.

Ежели же кто из потомков моих, подлецов, от этого списка отступится или, сволочь, во время не родится и во время же не умрет — ну держись! Прокляну заранее на веки вечные. С небес в папахи плевать буду и коням хвосты ночью на английский манер пообрезаю.

Ну, пиши, пиши. Чего стал?

Илья Өомич.

Гаморкин хитро прищурился на меня.

— А ты, к примеру, знаешь какая у него судбина? Слушай, как мне представляется. Будет у него странная судьба-фортуна. Будет моему пра-правнуку славная смерть на поле битвы. Война Казакии с Японией, только не 1905-го года, вовсе не такая.

И пра-правнука моего переедет Японский миноносец.

— Ну? — спросил я. — Что ты говоришь? Как же это произойдет?

— А так! Очень даже просто. Поплывет он — Илья Өомич, из Ростова в Миусский Округ с донесением. Притомится по пути, перевернется на спинку, а тут его японский миноносец по брюху — черк — и концы. Во-о как! Видал?

— Да-а! Замечательно, — увлекаясь не-

хитрой фантазией Гаморкина, восторгался я. Иван Ильич даже жизнями чужими жил.

— А дальше?

— Погиб. Так с кожанной сумочкой, которая у него за шею привязана будет, с донесением, значит, и пойдет ко дну — раков кормить. Пузырей несколько пустит наружу для приличия и — крышка.

Ну так! Пиши еще.

Илья Ильич и его сын

Иван Ильич...

Гаморкин неожиданно замолчал и сильно задумался. Нас порядком потряхивало на подводе и в тетрадке у меня получились ужасные каракули. Я думаю, что сам бы черт ничего не разобрал бы в ней. Цыгаркой я ее прожег в нескольких местах. И вот лежит она сейчас передо мной старая, старая, измятая вся, и смотрят на меня и на свет Божий, все эти: Ильи Ильичи, Ѳомы Ѳомичи и, даже, баба чем-то знаменитая (потом-то я узнал) Айседора Стрелопонтовна.

Есаул, что сбоку ехал, помню засмеялся.

— Один брешет, а другой записывает!

Что-ж, пусть и наш люд казачий почитает. Конечно, Иван Ильич много от себя прибавил, может быть и я что приписал — много ли в этом греха? Кому не нравится — отложи книжку в сторону, да и хвост трубой или морковкой, на легком катере.

Все это, в конце концов, не важно. А вот лучше, что я скажу. Когда пишу от руки, вроде я свое писание узнаю, а как напечатают его — оно сразу как не мое станет. Не узнаю. Даже если спросят:

— Кто писал?

— Не знаю, скажу, но только не я. Не я, и все тут.

Во-первых, я карандашиком-огрызком и очень неразборчиво, а тут и буквы другие и краска типографическая. Речи о чистописании не имеется. У меня, к примеру, и кляксы, взять хотя бы эту — финтифлюшкой; во многих местах прокурено, видать, что человек много думал и много старался, а напечатанное — чисто, ровно и, даже, как-то черезчур легкомысленно получается. Хотя мыслей внесено, надо вам сказать, ежели вы сами не рассмотрели, — бездна. Так и просятся наружу. И не одна, вот что занятно, далеко не одна. Ворох мыслей. Да-а, замечательно. А как напечатают — чужое для меня станет.

— Но ты, скажут, составлял, так твою, этак...

— Нет, — скажу я, — не знаю, кто составлял. Казак я станицы общеизвестной, и хутора непорочного, а насчет чего прочего — прощенья просим.

Тут я не дурак, папаху в руки, да и уноси Бог ноги. Я не Гаморкин, чинов и орденов не имею, власти у меня нет, а медаль?... — так это не всчет.

По секрету, пожалуй, признаюсь — както надо было кое что до казачьего ума довести и глаза открыть. Довольно нам слепыми щенками быть, в российской корзинке валяться. Мир-то какой! Свету сколько! Международность. Простор.

— Ну, — говорю я Гаморкину.

Молчит Иван Ильич.

— Что-ж ты, отец, притих?

Повернул он ко мне свое лицо, а оно грустное-прегрустное и глаза на нем, будто не его, не Гаморкинские.

— Что с тобой?

— Э-эх, кум Кондрат Евграфыч, — родится еще один Иван Ильич Гаморкин. Както у него жизнюшка потечет? Может быть он на меня и похожим не будет, а все же будет он — Иван Ильич. И вот, кум, грустно мне от чего-то стало.

— Оставь, Иван Ильич. Был же до тебя уже один Иван Ильич — и ничего. Казаком был, казаком и остался.

— Все это верно, а всетаки...

— Что, всетаки?

— Не хочется мне посередке быть. Кто посередке умостился, на того потолок и обвалился. Знаешь? Завсегда.

— Так что же ты, еще раз жить захотел и не доволен своим преждевременным появлением? Посмотри-ка Ильич, — у тебя: Настасья Петровна, Нюнька, Ѳомка...

— Все это хорошо. Оно конечно. Но... не дюже. Вот правнуку моему, Илье то Ѳомичу, миноносец по брюху — черк. Погиб на своем посту и... славы не оберешься. Пострадал. За что? За Казачество. А я? Я то что? Каптенармус. Ты скажи какой я, ну какой я, боевой елимент, — Мармус какой-то.

Комсот посмотрел на кончики своих закрученных усов и прислушался к нашему разговору. Гаморкин в унынии жаловался мне.

— Мармус.

— Ты что, Гаморкин, недоволен?

---

*) Комсот — командир сотни.

— Недоволен, Ляксандра Ляксандрович. Хочу подвигов ради страны и народа моего. Славы — для предков.

— Все это хорошо, ну, а кем бы ты хотел быть? Чья слава тебе бы соответствовала?

Гаморкин испытующе впился взором в лицо есаула и твердо сказал:

— Я хотел бы быть казаком Александром Маки-Донским!

. . . .

— Что же ты, кум, Иван Ильич, черт тебя побери совсем, меня казака, Кондрата Евграфыча Кудрявова, надул?

— Я надул? Это хорошо.

— Самым настоящим образом. Ты помнишь, когда мы с тобой возвращались домой и ехали еще на тачанке, и ты мне родословную свою диктовал-то.

— Ну, помню...

— Ты говорил тогда о предках?

— О предках. Дедах и прадедах. Это верно. Был такой случай.

— А откуда фамилия твоя вообще получилась не сказал.

— Как не сказал? Разве? Природная казачья фамилия — Гаморкин.

— Это-ж от калмыцкого корня.

— От калмыцкого?

— Да. Мне Шамба Нюделич сказал, что хамор, значит, — нос. Так что ты в нашем переводе вовсе и не Гаморкин, а Иван Ильич Носов.

— Я — Носов?

Иван Ильич побагровел от обиды и отчего-то схватил себя за нос.

— Я — Носов? Нет, тут что-то не так.

Страшно волнуясь, взглянул не меня уничтожающе.

— Тут что-то не так.

Он молча повернулся и пошел от меня прочь.

Тогда я зашел в курень к Настасье Петровне. Она только что развесила во дворе, на натянутых веревках Гаморкинское белье и с красными от стирки руками, но уже сухими, меняла занавески на окнах.

— Вы один, Кондрат Евграфыч?

— Один.

— А иде муж?

— Муж на меня в обиде. Куда-то пошел.

Настасья Петровна бросила на меня любопытствующий свой взгляд и спросила:

— За что-й-то в обиде?

— Да вот, Петровна, сказал я, что по-калмыцки, мне Шамба Нюделич говорил, хамор — значит нос и что, следовательно, точная фамилия его будет не Гаморкин, а Носов.

— Но-осов? — тоже недоверчиво переспросила Петровна.

— Носов, самая настоящая — от „носа“.

Гаморкина тоже нахмурилась.

— Это не так.

— Да так, так. Хамор — по-русски — нос.

— Так это по-русски.

— По-русски.

— Ну, а мы, слава Богу, не русские, а казаки. Нам ни с кого примера не брать. И

вам должно быть стыдно, кум. Вам Ильич ничего не сделал дурного, а вы его на русский перевели. Он страсть, как своей казачьей фамилией гордится и дорожит. Срам вам — пожилой вы человек. Сродственник...

— Да что-ж я? — удивился, — я ведь только сказал.

— Вот и не надо было вовсе говорить. Ведь это, если Варвара Семениха или Киткина матъ узнают, или старуха Курдюмиха — ведь они меня задразнють. А, скажут, мадама Носиха? И так и этак. Ты-ж знаешь, кум, что это за народ, сбрешешь, — а они уже уцепились.

— Да это-ж мне Шамба Нюделич...

— А вот я твоему Шамбе Нюделичу задам! Казачья кровь, особая кровь, на чужие языки не переводимая. Ишь что удумали. Управы на вас нет.

Рассердилась окончательно Настасья Петровна, руками замахала, босой ногой стала топать.

— Это еще что такое? Носовы? Иван Ильич Носов, Настасья Петровна Носова. Тьфу! Может быть еще скажете — Кремлев, или Лаптев, или Балалайкин? А? Еще и это скажеть-те.

— Да я, Настасья Петровна...

— Молчи. И слушать тебя не хочу! Ни тебя, ни Шамбу, никогошеньки. Хамор вовсе и не нос, и все вы с ним выдумали, чтобы нас опозорить промеж хуторцов. Сами вы с ним носы, что-б вам пусто было.

Тут на стол села муха и стала чистить лапками крылышки. Настасья Петровна хлопнула по столу снятой занавеской, и с сердцем

раздавила ее, когда та упала, оглушенная, на пол.

Раздавив, она как-бы очнулась, принесла тряпку и аккуратно затерла пятнышко, потом сказала мне сдержанно и сурово:

— Иди ты, пока Ильич не пришел, а то попадешь под горячую руку — своего носа в целости не унесешь.

Я пожал плечами и двинулся к двери. Но было уже поздно — на пороге стоял сам Иван Ильич. Несмотря на то, что он имел вид угрюмый и папаха у него была надвинута на брови, все-же в его фигуре было что-то такое веселое-важное, даже торжественное. Какое-то самодовольство светилось в уверенной позе. Я остановился.

К тому же Гаморкин, расширив руки, сам мне преградил путь.

— Ага, кум, тебя-то мне и надо. Так, как говоришь? А?

Тут вперед стремительно выступила Настасья Петровна.

— Да так, хамор, дескать, — нос.

— Ты, Петровна, его не слушай, брешет он. Дурак ты, Евграфыч, а женатый. Хотя и говорят: „дуракам счастье", только на этот раз тебе не посчастливилось. Мою фамилию тебе разгадать не удалось. Хамор — это верно, по-калмыцки — нос, но ведь я — не Хаморкин, а Гаморкин. От слова „Гам". Такое слово — гам. Разве ты не слышал, люди говорят: „Что за гам, прости Господи, чистая ярманка". Только раньше этого слова не было вовсе; так, как теперь его употребляют — не было.

Я тебе объясню, я отца своего старика спрашивал, хоть он и стоит уже одной ногой

в могиле, но как я ему сказал о твоем паскудном предположении, так он, приподнявшись, спиной на печку оперся и затрясся весь от этих моих слов.

— Пойди, говорит, скажи своему куму, что-б он сдох и на этот свет больше не ворочался. Казачью нашу фамилию коверкать!? Это, говорит, в древние времена был такой казак — человек свирепых наклонностей. Давным - давно. Ужасный герой, храбрый — нет спасения. Так о нем и гуторили, так о нем и слава побежала, что трогать его нельзя, что он из себя — чистый зверь-пантер. Гам! — и ничего не осталось от человека. Гам! значит, и проглотил.

Иван Ильич сделал жуткие глаза, открыл широко рот и, быстро закрыв его, щелкнул зубами.

— Гам!

Петровна даже затанцевала.

— Во-во! Гам, гам!

Подступила она ко мне.

— Слыхал. Понял ли ты, что муж говорил. Гам, — и съел. Гам! Вот какие раньше казаки были, не то, что теперь, — смотреть не на что.

Иван Ильич после длинной своей речи уселся было и, вытащив платок, хотел утереть пот на лбу, но услышав такие слова от своей жены, установился на нее с удивлением.

— Что говоришь?

— Говорю, какие ране казаки были. Гам-гам!

— А ныне? — сурово спросил Иван Ильич.

Какая-то угроза прозвучала в голосе· Петровна затихла...

— Да и теперь есть — уклончиво ответила она, потом, застучав пятками, вышла из куреня.

Я молчал все время.

— Что же ты голосу не подаешь? Верно ли я говорю?

— Да, вроде, верно.

— Ну, так и не будем больше об этом разговор поднимать. Нынче еще в Правление идтить надо, Атамана выбирать хуторского.

Он дал мне свой кисет. Мы закурили, пошел у нас разговор о мелочах хуторской жизни и, вскоре, эта маленькая неприятность совсем забылась.

. . . .

Эти записки можно читать и с конца, к примеру — то же впечатление получится. Но вот некоторые, что читают, — смеяться изволят — это не хорошо. Может, конечно, какие смешные места и есть, или обороты, или выражения, что-ж — такой уж у нас язык — но только смеяться — грех. Слез больше рассыпано. Ох, больше слез! Они, положим, не видны очень. Да их и не надо, чтобы видели, ну а только, если настоящий казак возьмет эти записи в руки — да припомнит все в картинах ежели — так ворохнется у него сердце. Ну, хоть, суд Войскового Круга над покойником — Алексеем Максимовичем, когда ему был наказ явиться в Могилев на следствие по обвинению в измене. Когда ему имя было дано „предателя“. Послушайте, что рассказывает Гаморкин.

— Как это было, кум? Уж и кричал я! Уж и надрывался. Сперва Атаман пришел ответ давать Кругу. Голова опущена. Поник казак головушкой. На вопросы отвечал тихо так, спокойно. Так, дескать, и вот этак. А потом выступил наперед Митрофан Петрович — учитель, в вольной одёже, да как крикнет:

— С Дона выдачи нет!!

Мы выбирали, мы и судить будем — иначе нет Дона, нет Казачьего Права, нет Казачества! Своего Атамана казаки сами судить будут.

Как поднялся тут, при этих словах, рев тысячеголосый. Как повскакали все со своих мест. Как закричат все:

— С Дона выдачи не-ет. Не-е-ет, не-ет, не-ет! Нет и нет!! С Дона выдачи не-ет!!

— Огнем на них!!

— Войной на Русь!

— У мине пика стоить, у сына шашка вострая!

— Огне-ем на них! Огне-е-ем!

Господи, что за крик. Все как с ума посошли. Сколько встало казаков, сколько сердец загорелось. И стали тут успокаивать нас — Николай Михайлович, да и сам Митрофан Петрович.

— Что вы, говорят, родные казаки?! Что вы, говорят, успокойтесь. Насилу все опять в норму вошло...

Вошло в норму и... потеряли мы Атамана.

Что значит — неорганизованность. Да если-б мы... не двести лет рабства... Да если-б мы помнили каждый свое место, наш-то, наш-то герой народный, Казачества герой — по-

гиб бы так? Позор нам! Смоем ли мы его теми реками крови, которые сейчас льем всем Войском? Дай Бог, чтобы мы навсегда горьким опытом сиим научились и держались бы всю жизнь друг за дружку. А всю бы дрянь нестоющую — в сторону, засорились мы, много у нас сору. Нам бы метлу хорошую, чтобы подмела она в казачьем Державном Курене, чтобы всю нечисть вымела. Уложили бы мы ее на лопатку, отнесли подальше, да и ссыпали бы на свалочном месте. Сгнивай и воняй себе на воздухе. Нам бы — стать за Отечество свое Казачье. Нет ничего выше братства в Казачестве — почитания старших, воздаяния мертвым, любви к Краю — к стране своей, Всевеликому Войску Донскому.

Гаморкин отвернулся.

— Взялся я защищать кормильца нашего, Дона Ивановича — метка моя винтовка. Верю в Казачество, верить ли Русским, Белым, бегущим в наши земли — не знаю. Увидим мы. Можно или нет. Как они к Кругам и Радам отнесутся.

Сейчас Петр Николаевич атаманит — взыграл олень в Войсковом гербе, загудел колокол на нашем златоглавом Державном соборе, твердо держит Круг власть на Дону.

Говорит так вот Иван Ильич и не знаю — жив я или мертв! До какого времени дожили! Живо Казачество! Живо старое, жестокое, и справедливое Казачество! Никогда оно не умирало и никогда не умрет. Не задавили его ни колодки, ни петли, не пресекли его топоры и мечи, не растерзал в пыточной, холуй-палач. Нет такой силы, которая могла бы уничтожить Его — ни золото, ни блуд из-

менников и предателей, ни бабьи бредни. Это дух народа, это с кровью матери всосана нами — жажда к Воле. Сейчас вот старинная мечта осуществилась — Азов наш. Дон свободен от красной нечисти. Степь наша. Шумит майдан, идут на смерть казаки: отцы и дети, старики и внуки, и женщины. Подняла нас Народная Освободительная война.

„За честь Отчизны, за Казачье Имя“, — поет казачий певец Крюков.

„На заре то было-ой, на зорюшке!“

. . . .

Когда мы с Иваном Ильичом восстали против большевиков и, очистив Казачий Присуд, оно же Дикое поле, оно же Всевеликое Войско Донское, созданное на наших казачьих костях и крови — мы подошли к граням.

Подошли и стали.

В голос кричал Гаморкин, повернувшись спиной к Миллерову, а лицом к Воронежу:

— Нужен нам большевизм на Дону и Революция? — Нет не нужны. Со своими, которые к Москве, или к власти — сами управимся. Знаем кого выбирать и кого смещать. Из дураков не выберем. Ума казачьего нам ни у кого не занимать. А вам, ежели подай Революцию — вы и старайтесь. Подай мир хижинам. А я вас спрошу, нашим куреням иде от вас мир? А землю нашу, на которой мы веками честно трудились, оставили вы нам? У одних отбираете, да другим даете? Иде это видано? Одним, выходит, нужна, а другим, нет. Почему крестьянину мой пай нужен, а мне кровью и потом его обрабатывавшему, не надобен?

За него, за пай этот, казак в землю всех предков уложил и прадеда, и деда, и отца. Войны всяческие вели, ваши же душеньки спасали. Сопляк какой нибудь на готовое припрется — казачьему народу на шею сесть. Да ешшо расселять начнет, да голодом морить, да порядки свои рабские заводить. Нет! Покедова я казак Вольного Дона, покедова последняя капля крови казачьей во мне содержится — не уступлю, всю жизнь биться буду. Никому не верю: ни монархистам, ни демократам, ни сицилистам — на кой хрен они все мне сдались, со своими планами, программами и разъяснениями. Как жить, сам знаю! Никого мне не нужно! На свои только силы и расчитываю, Доном даденые! На всех плюю, Евграфыч, с высоты чести своей Казачьей, столь для них недосягаемой, все одно что солнце красное.

Прежде всего — я, Иван Ильич Гаморкин. Затем мои ближние — Настасья Петровна с Нюнькой и Ѳомкой, потом сродственники, знакомцы, хуторцы, станичники и остальные казаки Войсковые, народ, так сказать Казачий. Кроме этого — другого для меня не существует и существовать даже не должно, да и не может! Мо-огут какие промеж нас приютиться казанскими сиротами. Так уж ты свою сиротскую долю и разумей, не лезь со своим уставом в чужой монастырь. Себя мы не обманем. Сам себя — дулю обманешь. А что за эти разнесчастные года всю душу из казака вымотали — так это хвакт.

Из вольных людей-солдатиков, помещиков, партейцев, дворян и прочих фигур понаделали. Полюбуйтесь-ка на казаков таких. Не

затем наши деды и прадеды в степях сидели и каждодневно смерти в глаза глядели, штобы потом, среди их вольных потомков таки е нашлись, что всю Войсковую Организацию шшелчком уничтожали, в лакейские мундиры наряжались и из Орлов Степных в куриц превращались. Да как же. Держи карман шире. Слушай, кум...

— Будет, — тихонько сказал я, — видишь, Иван Ильич, от твоих слов грозных, вся Воронежская губерния разбежалась.

Поцеловал Гаморкин шашку, каковой махал и вложил ее в ножны.

— Верно! Шут с ними! Разве они нас поймут? Бабы, я тебе скажу, кум, даже бабы и те у них — что блаженные. Пощекотать не дают! А ежели застрашшаишь — в обморок — хлоп. Оделолонцу, дайте, просють. Ровно порченные — ни ругаться, ни визжать толком не умеют. Чудной народ. И в кого он уродился — не пойму. Жале!!

Гаморкин подобрел. И оглянувшись, стал мне рассказывать. На нас никто не обращал внимание, так как казаки спешили маленько отдохнуть.

— Помню едет это Лев Толстов. Борода, говорят, на нем и все такое, даже говорят, граф. Я принарядился! Все на себя стоющего понадевал — медали, кресты. Усы расправил, вот так-во и вот так-во! Выхожу навстречу... а он? Ть-фу! Он то — босой, в рубашке, да еще веревкой подвязался.

Иван Ильич принялся фантазировать, видал где-то карточку, а я довольный тем, что успокоил его и перевел на другие темы его мысль, подзадорил:

— А Пушкин?

— Пушкин? Да, кажется с ним и Пушкин был — вертлявый такой. Как же! У нас свой и анекдот сложился.

Сидят они в Правлении Станишном и мы казаки вокруг стоим собравшись, что скажут, ждем.

Встает Толстов и говорит:

— Я, братцы, Толстов! Пришел в народ! Пустить вы меня должны в народ! Я, говорит, хочу и никакая гайка! Для этого самого я и в рубашку нарядился и шнурочком подвязался, чтобы не быть очень страшным.

Нечего с ним не поделаешь. Хочет человек. Повел его старичек ветхий Кокин, Трофим Гаврилович, а он через некоторое время от него вырвавшись, опять к нам назад прибежал.

— Я, говорит, дураки вы, в народ хочу, а он меня за сарай завел.

Дед Кокин за ним стоит, лицо у него расстроенное.

— А ты чего? — спрашиваем у деда.

— Бумажку забыли!

Так они и уехали.

Непонятные люди — шатаются по белу-свету, будто работы никакой нет.

— Женить таких надо — пошутил я.

— Да — устав врать, согласился Ильич, беспременно жанить надо. Савишне и Киткиной матери Пушкин понравился, да ничего у них так и не вышло, они ему по бабьи: так, мол, и так, а он... стихами.

Так и не столковались. В таком деле на стихах далеко не уедешь. Баба-то все слуша-

ет, а у ней одна дума сидит. Ну, разгадать-то, положим, не трудно.

Гаморкин сплюнул и переменил разговор.

Кони наши щипали кой-какую траву. Мы лежали с ним от них в сторонке и курили цыгарки. Хотел я уже у него спросить что-то, как услыхали мы команду:

— По ко-оням! Сади-и-сь!

Взлезли на коней.

— Ры-ысью ма-арш!

И стали мы свои Войсковые грани топтать. Взяли кони, с места рванулись. Трясется в седле Ильич.

— Ох, Евграфыч, чует мое сердце — не зачем нам грани переходить. Ох, быть беде!

Я гляжу — все казаки понахмурились.

— Куда, спрашивают, зачем? Чего там у большевиков не видели?

— Затем, что приказ — наступление.

— Ох, — стонет Ильич, — не надо бы его етаго наступления!

Впереди какая-то показалась русская деревенька. Пальнули из нее в нас и замолчали, ровно призадумались. Влетели мы в селение — поймали мужиченка, а тут команда опять.

— Сто-о-й, вались!

Свалились с коней — заняли деревеньку. Приуныли мы.

Зачем перешли на чужую землю? К чему? Кому это надо? Вот вопросы, которые мучили казаков.

— Что, урядник, съехали с Дону?

— Отстань, Ильич. Тебя не спросились.

— Во-во! Ежели бы меня спросили — не промахнулись бы. Я-то в землю на три аршина вижу.

Так это он убедительно сказал, что мы даже и не засмеялись.

— Хват, — бросил урядник и потянул к колодцу своего коня.

. . . .

Что же, в конце концов, в этом удивительного? — подумал я и решил: нет ничего удивительного. Все понятно и просто. Разметала нас судьба по всему свету. Разлучила друг с другом. Все очень понятно и просто. И из записок моих об Иване Ильиче, пожалуй, ничего не получится. Не хочу пускаться в рассмотрение этого вопроса, — если углубишься, так не только сам не выберешься, а и читателя утопишь. От мыслей ли моих заграничных, одиноких, от мучений ли, стал я как-то на изнанку мыслить и разговаривать. Иной живет себе, живет и смотришь на старости лет — взял и поумнел. Трах, как говорил Гаморкин, — и поумнел. А я? Трах, — и не пойму: умный я или дурак. Все всё поняли, все всё сознали, всё знают и даже вперед предсказывать берутся, а я никак понять не могу, как я в этом паршивом заграничном городишке очутился, около базара, в пекарне у турка Ахмеда подмастерием устроился, и вот теперь мешу хлеба.

Хоть особенно удивительного, пожалуй ничего и нет, но все же, несколько пролетевших лет и так пролетевших, по дикому, замутили и мысли мои, и душу. Что случилось? Как случилось? Почему?

Старею я. От заграничного житья, станичники, вдвое человек стареет против прежнего. Я иной раз, за прилавком, вместо темно-

го, белый хлеб отпущу и... не замечаю. Тот, кто покупает, хоть бы заикнулся на своем непонятном языке:

— Ошибаетесь, мол, Кондрат Евграфыч, не то, мол, отпускаете, этак и прогореть можно. В убыток торгуете, а не в прибыль. Молчит подлец, тот кто покупает, и скорей старается из пекарни нашей убежать.

В пекарне работает нас двое — турок Ахмед и я. Пекём себе и пекём, будто-бы я всегда этим делом занимался и на Дону сроду не бывал. Шесть годов пекём. Шесть годов окрестных жителей питаем. Жуют они и насыщаются, а возврата же домой, в станицу — нет и не предвидится. Оно, правда, народ Казачий в разорение великое пришел. Казаки — кто побит, а кто из колеи так вывернулся, что до сих пор вправиться, по нынешним временам, не может. Где обретается, Гаморкин Иван Ильич — не знаю. Ни слуху о нем, ни духу. Пока совсем еще памороки не потерял я составляю и исправляю, все о нем в оные, прежние времена, записанное. Но чувствую, что жив Гаморкин, что он где-то живет. Может где нибудь с казаками пристроился. Хоть и расстались мы на побережьи, а все-ж таки, за границей он. Почему? Сейчас расскажу, какой недавно случился потрясающий случай.

Такой случай, что радостным я стал, каким давно уже не был. Душа у меня взыграла, от чудес современных. Ну, подумайте — тоскуете вы тоскуете, вспоминаете, вспоминаете и вдруг, совсем неожиданно, видите того, за кем ноет ваше сердце. Кого я видал, и как видал?

Гаморкина...

Сукин сын! Даже не поздоровался, даже головой не мотнул, даже глазом не подмигнул — хитер, мол, Кондрашка!

Истина, видал я, что у него делов по горло, но разве же можно старых знакомых забывать? Вот так встреча была у нас. Опишу, хоть и тяжело писать, и больно даже.

Случился Турецкий Байрам. Праздник. Вышли мы с Ахмедом из нашей пекарни вольным воздухом подышать, от печи подальше, и попали в иллюзион-кино.

Дело было так. Проходим мы мимо кино и задержись я тут пол-секунды на фотографии посмотреть; думаю — может быть чего. Глядь, — казаки сняты, вместо актеров, в полной форме и все такое.

— Стой, кричу, Ахмед, я хоть и не любитель, но зайдем.

А турок отвечает:

— Денег в обрез, на вино только и хватит.

— Пойдем, — уговариваю, — Ахмед, на казаков посмотришь. Ты же нас в настоящем виде, можно сказать, и не видал вовсе.

Дождик пошел.

Моросит. Небо такое — неприглядное, и урезонил я Ахмеда. Заходим, платим, усаживаемся и тут свет кто-то — черк и потушил.

Пустили картину.

Прошла первая часть — нет казаков.

— Где же, твои казаки спрашивает турок?

— Сейчас — отвечаю.

А самого меня предчувствие какое-то томит.

Тут после антракта опять — черк, — свет

угасили, загудела опять лента и... закричал я на все кино.

— Ба-а-тюшки!! Иван Ильич!!

Едет он по степи со взводом, нахмурившись, и будто вперед всматривается. Такой же. Ну вылитый. Сжалось у меня сердце — вздохнуть не могу. Перебежал я к полотну.

— Глянь ты на меня! Друг сердечный! Глянь ты на меня Кондрашку, как я тут живу собакой паршивой, три дня неумываюсь, на полу сплю в подвале!

Едет он, ровно меня и нет совсем, ровно, не я, кум его, что Нюньку крестил — не я.

Понатужился я. Дурак, в толк не возьму, что картина это.

— Здрась-те! — кричу. — Наше вам!

Хоть бы что. Проезжает мимо, глазом не моргнет. И такая у меня скука к горлу подступает. От, думаю, сейчас зареву, на старости лет. От, зареву. Рванулся я к нему совсем близко. Шарю по полотну руками, коня за ноги хватаю:

— Стойте, казаки!

Папахи на них нашенские — кудластые, кудластые — донские. Взвыл я... а тут меня и вывели.

Очнулся, Ахмед сбоку стоит.

— Будет, — говорит, — пойдем домой, насмотрелся я.

Дождик идет, моросит. По-о-ехал мой Иван Ильич. Жить мне после такой картины не хочется. Город кругом! Стою на тротуаре, а напротив магазин шляпный электрической вывеской мне мигает. Отвернулся я от модных картузов и побрел домой.

Вот почему — знаю я, что жив где-то кум мой, Гаморкин.

А не прошло с этого дня и двух недель — другое чудо.

Разнес хлеб по домам и иду к себе, опустив голову, в пекарню. Стоит у меня эта картина в мыслях и столкнуся, ну нос с носом с...

Нет, какой же случай!

Нос к носу с... Михаилом Александровичем Петухоем.

— Ты ли это, Александрович?

— Я, собственной персоной!

— Побожись!

— Лопни мои глаза и разрази меня гром на этом самом месте, и что-б мне, после этого, с него никуда не сойти, три дня ни соли, ни хлеба не есть и на коня не сесть.

— Стой! — обрадовался. — Ты! Откуда и какими судьбами?

— А такими — говорит и улыбается — Кеть-меть, на горе ведметь. Как подошли, значит, мы с Иваном Ильичем к Черному морю.

Руками на него замахал.

— Молчи, молчи. Зайдем где нибудь выпить — все-то ты мне и расскажешь поподробней.

Ну, думаю, вот и вести о Гаморкине. Все-то я сейчас узнаю, как и что.

Зашли в кабачек, поставил я литр винца, расцеловались мы еще с Петухой и стал он мне повествовать.

А сперва чокнулись.

— Слава Богу, что мы казаки.

— Дошли мы до Черного моря, как сам ты, Евграфыч, знаешь, до самого Новороссейска. Ну, куда? Известно — мы с Ильичем на

пароход, а нас обратно. Стоит дядя-доброволец с ружьем и нашивкой трехугольной на рукаве.

— Не для вас, — говорит, — катитесь колбасой!

— Что? — сказал Гаморкин. — Ка-ак?

— А так! Не для вас и все. Для вас другие суда придут, а эти — не для вас.

Врет, конечно, стерва. Стали мы ходить по бережку. Никто нас не берет, туда сунемся — „досвидания", сюда — „привет в Черкасском передавайте". Коней мы побросали, а они уцепились и за нами ходять — прогуливаются. Тоска смертная, неуёмная. Гаморкин зубами заскрежетал.

— Ни в жизнь, говорит, добровольцам этого не прощу. Пришла пора погибать нам бесславно от большевицкой, злодейской руки.

Нас на бережку так-то вот тысяч несколько казаков. Не мало. А кораблики ушли. Остались мы со своими казачьими офицерами с пиковым антересом. Сел Гаморкин на молу, ноги к воде свесил, качает головой.

— Плохие, — говорит, — братец Петухой, дела. Очень, даже, плохие. Никуда тебе ходу нет. Пропадает Войско Донское ни за понюшку табаку. Ужели же концы нам пришли? Этого-ж быть не может!

Рассказывает Петухой, а я сижу и глаз с него не свожу. Все мне так вот перед глазами и рисуется.

Выпил свой стаканчик Петухой и дальше стал говорить.

— Забрали нас товарищи. И чего только мы не натерпелись. Соорудили они из нас 21-ую дивизию. Наш полк в Отдельный Ди-

визион свели. Командира полка, полковника Рытикова — в отставку, дали нам своего и погнали на Польский, этот Западный фронт. Ху-у-у. И началось тут светопредставление; русские офицеры за Россию под большевиками дерутся из патриатизму; большевики за Интернационалу из патриатизму, поляки за свой Край тоже из патриатизму, а мы... промеж них болтаемся — места сабе подходяшшего сыскать не можем. То туды, то сюды.

Тут табе и конная атака, и красных-армейцев нагайкой пужай и задерживай, если бегуть. Тут его в бой, а он раком.

Кругом — леса и болота. Темно и мокро.

И вот в одном селе, по празванию Вечша, собрал Гаморкин совет из казаков. Призвали офицеров, и через три дня, перешли мы на сторону поляков полным составом — и казаки и офицеры казачьи. Нарвались на Познанские войска, на 15-ую дивизию. А командир ейный, прямой и твердый, видать, генерал, — фамилия ему Июнк — пустил наши души на покаяние, а сперва, вроде опрос учинил.

— Чего перешли?

— Казаки мы!

— Все равно, — говорит, — русские!

— Нет — твердо отвечает за всех Гаморкин. — Знать не знаю и ведать не ведаю. Против вас не воюю и войны вам Дон не объявлял. А есть мы — казаки Донские, а страну нашу, Всевеликое Войско Донское, разорили супостаты в конец, Атамана прогнали и всё там под врагами нашими в опустение пришло и в несчастии великом пребывает. Нам хуже никогда не было.

Сказал — рублем подарил.

Генерал ему в глаза заглянул и руку пожал.

Гаморкин где-то раздобыл сигару, запалил ее с одного конца, а другой в рот вставил. Дымит и поплевывает, поплевывает и дымит.

Да, Евграфыч, удивительный, Иван Ильич человек. Казак. И ушли мы в лагеря. Я потом из лагерей — в Германию, а теперь вот сюда пробрался. Без визов и лигамаций. Кому, на кой шут, они нужны! Слыхал я, Нансенов пачпарта наделал, так это для беженцев, не для нас. Нам папаха — пачпарт, а придет время сами себе что надо напечатаем.

Сказал Петухой, дернул плечами, стукнул в бутылку своим стаканчиком:

— Центральная, подавай — и выпил за мое здоровье.

— А что же с ним? — допытываюсь.

— Он от меня в Польше отстал. Иду, говорит, на заработки.

Как, Евграфыч, Гаморкин в Орше голову не потерял — до сих пор не понимаю. С комиссаром сцепился. Вылазим мы вот-так из эшалона, сели на коней, флаг нам красный развернули, а комиссар Бочковский говорит:

— Песню грайте эту, как ее, —

„Вышли мы все из народа“, или
„Борцы идеи, труда титана!“

А Иван Ильич подмигнул ребятам, да как гаркнет:

„Сла-а-а-вим Платова-героя.
Победитель был врагам!“

Тут все со свистом, с подголоском, с гиком, подхватили:

„Победитель был врагам,
Слава Донским казакам!“

А комиссар:

— Отставить!

Хлестнул Гаморкин коня, подлетел к нему.

— Кого, — говорит, — отставить? Всех уже отставили.

— Песню, — лютится комиссар.

— Песня хорошая, Донская! А ежели язык казачий непонятен, так переведем.

Что было?!... Комиссар — за плеть... да ударить не посмел; оглянулся вокруг, видит — один-то он среди казаков, кругом лес. Отъехал. И-эх.

Петухой неожиданно наморщился.

— Чего-чего только не было, Кондрат Евграфыч!

— Стой! Значит Гаморкин вместе с тобой от красных ушел? Спасся?

— Спасся! И я спасся, а лучше мне у своего куреня под плетнем со смертельной раной завалиться бы, чем так-то вот на своих мозолях седьмой год плыть по житейскому морю. Ни бережка тебе, ни островочка!

— Когда же ты приехал?

— Сегодня.

— Спать где собирался?

— Пока не знаю.

— Ну, тогда идем ко мне.

Привел я его к себе, уложил на свой топчан, — спит он сейчас на нем, похрапывает. Постарел, усы побелели, лицо все морщинами пошло. Разметался во сне, бредит. Сижу

я над ними и всплывают в моем мозгу картины былого; вспоминаю, как когда-то он был у меня в гостях, и Прасковья Васильевна нас катламчиками потчивала. Сижу над ним. Свеча моя оплыла, и фитиль закорючкой, наподобие собачьего хвоста, загнулся и чадит. Пишу о нашей дневной беседе. Один нашелся-таки, — где-то остальные? Да и остальные не так важны, как мучает меня неизвестность об Иване Ильиче.

А уж мы с Петухоем больше не расстанемся.

. . . .

Есть теперь казаки, которые всеми забыты и Богом и людьми.

Бог-то один, а вот людей много.

И никто из этих людей и не вспомнит, что в селе, скажем Штринберг, или там на какой нибудь границе, или в каком нибудь лесу, или в глубине рудника, бьется в тяжелом труде казак. Что такая скотская жизнь, вдали от родного простора, от семьи и воли степной, сама уже его наполовину расказачила и затерла. Что давно уже предоставленный самому себе, он днем и ночью гонится за куском хлеба. Что Атаманское слово, или письмецо станичника до него и не доберется.

Войсковой праздник, для такого казака, все равно, что буден день и все то слезы, и пьяные, и трезвые, на его щеках высохли, и щеки эти заросли седою щетиною, а глаза ушли глубоко.

И видно только — светится в глазах этих огонек.

Светится еще какой-то огонек, но придет смерть, она проклятая, человека не забывает, дунет-плюнет в глаза казачьи, потушит огонек острый в зрачках, и возьмут чужие люди его за ноги и поволокут на похоронное место, поволокут, да и зароют.

Казака по глазам сразу отличить от других можно.

У многих обличье казачье стерлось, многие и шкуру свою другой заменили, послушными стали, и на все руки, его, скажем, сзади и не угадаешь; ну, а обернулся если в глаза вглядишься — он! Он — казак.

Окаянным Каином шалается без пристанища и семьи! Всего-то он натерпелся, ко всему привык, со всем, вроде, согласился и примирен, а горит всетаки в нем — упорный дух.

Это ничего, что кожа да кости остались! Что там туберкулеза или старость — он как свечка.

Горит ровненько, светит в нутре.

Такой вот казак-молчальник, из года в год, в сторону своей степушки глядит. Глядит и молчит.

Оно и правда — о чем разговаривать?

Меня всегда к таким тянуло. Сам я такой и Петухой такой.

Встал он на другой день, я ему работишку нашел, он за нее тотчас же ухватился — хоть бы слово сказал. Метет он улицу, голова опущена — трудится, только и подымет взор свой, когда мимо его конный солдат верхом пройдет. Посмотрит он такому в след, посмотрит, как у коня сзади все четыре подковы поблескивают и по мостовой цокают и

опять к метле. Или вспомнит что, или пожалеет о чем — не знаю.

А я наблюдаю за ним. Мне из подвала-пекарни видно и его, и кусок улицы.

Ахмед за ночь уморится хлебы таскать из печи, и уляжется, а я к прилавку — торговлю править.

И потекли так-то вот дни.

Стал Петухой к новому месту привыкать.

Вечерком ляжем мы на наши ложа, закурим, и станем мыслями делится. Он тоже, как и я, вспоминает Гаморкина и знает, я ему сказал, что записываю я об Иване Ильиче — как умею и что могу.

— Знаешь, Кондрат Евграфыч, жили мы вместе с Иваном Ильичем в двадцатом году в Польше, и вот, — прямо скажу, — замечательный он человек. Иной раз такое скажет, что долго потом об этом думаешь. Так вот и казаки, соберутся вокруг него и слушают то, что он говорит.

— Вот, станичники, представьте сабе такую картину. Идут несколько человек темным лесом со своим главным — Атаманом. Они его выбрали и ему подчиняются и вдруг — трах-тарарах! Упали в глубокую яму-западню. Все в яму — бух.

У ямы стенки отвесные и прямые до самого днишша — никак из нее не выберешься. Сидят казаки на дне.

Что же в таком случае? В таком случае — всем крышка и Атаману и товарищам. Кругом, станичники, заметьте, дремучишшие и непроходимые лясы. Кричи не кричи, свисти не свисти. Г-м!

Ну, скажем, сейчас же выступает Атаман:

— Пока я вас вел, вы меня слушались, а попали мы все в беду — одному мне делать нечего, давайте все думу думать: как нам всем спастись.

Один, или двое, не послушались. Сами полезли: первый назад оборвался, другой шею сломал. И вот садятся тогда эти смертники в круг, как Атаман сказал, — думу думать. Каждый свое предложение внесет. И встанет какой нибудь Сенька, примечайте, станичники, мои слова, встанет какой нибудь Сенька и скажет:

— Влезем мы друг на друга, — верхний выкарабкается и всех спасет.

Сказано — сделано.

Вылез верхний, дерево какое нибудь приволок, или из чего веревку сделал, глядишь — все вылезли, отряхнулись и дальше пошли путем своим молодецким.

В беде не только сам спасаться должен, а и всех спасать.

Один подниз стал, на него другой полез повыше, и в таком же роде, дальше. Атаману, может быть, тяжелей всех придется. Может его в самый низ поставят — трех или четырех человек на плечах сдержать сможет.

В таких делах — звериное чутье нужно. От зверя ума не требуется, — нутром должен варить. А вылезли — спаслись; ну, выберем опять человека, пускай умом пораскинет, какими путями идти и каких предосторожностей держаться. Ведь иной капкан и цветами прикрыт, и виноградом и иными сладкими ягодами увит.

В беде — прежде всего все должны собраться.

Так-то вот.

На Дону мы были все вместе, за границей, — кто куда.

Прежде всего нас, наши же перестали слушаться. Стали все вертеть самостоятельно, не по казачьему.

Лезет, скажем, на стенку из нашей ямы, да на наши же головы и валится обратно. Не только валится сам, а с собой на нас сыпет и камни и сор, и грязную землю.

А мы стоим и... молчим.

А какие два между собой, в яме-то, заругаются и давай друг друга честить, будто не на дне всем погибать и им так же двоим ноги протянуть придется, как и всем нам. Подохнут же как злые собаки. Из-за чего, спрашивается? Из-за разных убеждений? Из-за власти? Тю, черти, да на вас уже черви зубы свои точат, а вы хорохоритесь!

И вот тут кто-то должен сказать всем: будет.

Будет!

Потому, что должно же это когда нибудь природным казакам надоест.

Надоест по самые по-некуда.

Заругались какие: один так, другой иначе, сейчас же одного и другого в ухо. Не слушаються, связать и оставить в яме, может, сволочи, перед концом поймут, что не в их одних наше спасение.

Может какой из них свое и возьмет, да мы то с голоду опухнем и лопнем на виду у них, примирившихся.

И другие, какие самостоятельные, не вышло: раз шлепнулся, другой — печенки отбил,- так сиди и слушай.

Казак не пропадет. Не такой Казачий народ, чтобы пропасть. Может хоть один, а спасется. Из черепов горку складеть, а вылезет, и пойдут от него казаки, глядишь и возродилось Казачество.

Так-то вот, станичники, сейчас мы все в беде.

А впрочем, может быть то, что я говорю непонятно.

А только ведь у нас всегда так было: если тысяча думает, — что нибудь из этого и должно выйти.

Скажем к примеру, Петр Семенович, задумавшись, на стенку облокотился, а она и поддалась. Оказался из ямы той ход.

Или Николай Иванович скажет:

— Ройте ступеньки!

Поплевали на ноготки, и пошли рвать, вот и выскреблись.

Только должны все понатужиться, а не заниматься иными делами.

Смерти что-ль еще нет?

Нет, так будет.

Так чего же медлить?

Или ты на коне на виду у своей станицы, в крайнем случае и на худой конец, раненый с шашкой свалишься, или тут у тебя из тюфяка, кровью и потом за годы труда накопленное, выдернут, за гроб и дроги заплотють и повезут на кладбище. Но не только тебя в чистое белье и шаровары не обрядят, а никто и мыть не станет.

Никто и не вспомнит.

Где там?

Каждого разве упомнишь?

Ведь сейчас так: этот там, этот там, а тот там — по всему свету.

Скажем к примеру! Австралия, Америка, Балканы и так далее. Хо-хо-хо!

Умер человек.

— Кто?

— Казак.

— Фамилия?

— Нездешняя, скажут, и трудно выговоримая — Тшигерев, Хвотий Ильич.

Так то!

И знаешь, Евграфыч, как скажет так вот Иван Ильич, казаки кругом головы повешают, сидят, будто неживые.

Мы задумаемся, потом Петухой, настоящая его фамилия — Саринов, перевернется на другой бок, носом в стенку ободранную, а я за перо -- записать.

Заснет мой друг, Михаил Александрович, начинаю я размышлять.

— Конечно, дело тяжелое. Легко говорить, да трудно сделать. Но все же, что, к примеру, не найдется среди нас дельных казаков? Не могли ли бы мы решить: к такому, мол, году — быть во что бы то ни стало дома! Неужели мы на свой Казачий Разум не можем расчитывать? Выбрать бы страну поближе к Дону, да и перетягивать туда всех казаков. А набралось бы, так при случае могли бы раскачаться.

Но только если бы все собрались: я — Кондрашка, Иван Ильич, Михаил Александрович, Иван Григорьевич, Тарас, Терентий, Степан Никитич... Да нам бы пулемет! Пустили

бы мы веером стальные пули, — полетели бы они пчелами. Нельзя так, — другим способом:

— Освободите нас, господа иностранцы, а мы вашей услуги не забудем.

Или еще что. Господи! Пишу и плачу. Стыдно, а плачу. Да будь вы прокляты, кто нас всю жизнь мучил. Когда вы уж нас в покое оставите, когда от нас отцепитесь?

Надо, надо нам спасаться, пока не поздно. Чтобы все... Ну, а если пошло на то, что семья наша распалась и каждый стал сам по себе и по своей дороге побежал, то...

Завернусь я в одеялко, покурю, вспомню житье - бытье Донское, распрекрасное, вспомню семью, кормильца моего Дона Ивановича, коня своего Дерезка — мышиного цвета, флаг Донской, что на Атаманском дворце когда-то висел, еще что-то вспомню, завернувшись в одеялку, скажу после этого.

Один я, один! Прощай, Иван Ильич, не поминай лихом! И ты, моя разрадёмая сторонушка, — не увижу я тебя!

Скажу так-то вот и...

— Не-е-ет, шалишь! Чтоб я помер? Казак Всевеликого Войска Донского умер завернувшись в одеялку? Никогда! Стыд и срам! Да как я на том свете отцу, деду и прадеду в очи погляжу? Как?

— Ты откудова, спросят, пришел?

— Из Югославии.

— Как? — спросят — воевал?

— Нет, просто так... жил!

— А как же. — с Дону бежал?

— Да.

— Не умер в станице своей родной?

— Нет, там не умер.

Отвернуться и пойдут они от меня прочь Где же покой? Покой где?

Нет его здесь, не будет его и на том свете.

. . . .

Слабеет мой глаз. Все хуже и хуже я им вижу. Виной этому, наверное, печь. Жара от ней — ужас!

И так меня тянет куда нибудь подальше, что сил моих уже больше нет. Как говорится у нас „работа зубы показала“.

Весна в этом году пришла неожиданно, теплая такая, ласковая. Хорошая. Как раз во время пришла, чтобы людишки малость оттаяли, от холодов чудок отошли.

Улучу часочек свободный, подмигну Петухою, и пойдем мы с ним в поле, прочь от города. Выйдем, — идем по рыхлой уже влажной земле, дышем полной грудью, как кузнечными мехами.

Вот и травка кой-какая пробивается. Пробуждается природа от зимнего сна. Посмотрю на станичника Петухоя: нос у него не нос — труба.

— Землей пахнет, — скажет он мне.

— Чую, станица, ох, чую.

— Дон-то разлился, поди?

— Да, разлился наш батюшка, — Тихий Дон Иванович.

— В Старочеркасском на лодках теперь разъезжают.

— Разъезжают.

— Снарядить бы нам кораблик, да поплысть бы по воде до Азовского этого моря,

а потом до своей станицы бы доехать, да сюзьмы бы полопать.

— Сюзьмы?... Ох, чую, говорю, ее запах-аромат.

И так-то вот, мы с Петухоем до того размечтаемся, раздразнимся, что идем все дальше и дальше, на город и не оглядываемся. И кажется нам, что будто мы и не заграницей вовсе, в эмиграции, а дома, по своей степи разгуливаем. Как будто вышли за левады и идем.

А вот Михаил Александрович совсем, можно сказать, серьезно, меня спрашивает:

— А сколько, Евграфыч, до гаморкинского хутора осталось?

— А вот, говорю, сюда. Рукой подать.

Бредим наяву.

— А как ты думаешь, сперва зайдем к нему, а потом к тебе?

— Ты заходи, а я к Прасковье сбегаю, распоряжусь, да за вами и зайду, — уж у меня хлеба-соли отведаете!

— А дома он сейчас?

— Гаморкин? Дома! Где ему быть-то? Жизнь у нас мирная. Войн, слава Богу, никаких нет!

И начнем мы друг дружку перебивать, описывая, что он делает, что Настасья Петровна, как Нюнька и как Ѳомка. Ревет или нет? И нос цел у него, или опять на речке в кровь разбил? И как Ротыч, и как дедушка Панкрат, что когда слушает, руку трубкой к уху приставляет, и как всё лежит и где стоит? Ху-у-у! Ну, чисто умопомешанные!

— Довольно, — остановится Петухой, — этак мы с тобой с ума спятим!

— Да и спятим.

— Давай лучше припоминать что.

— Давай.

— Не разсказывал я тебе, как Гаморкин в С. С. С. Р. когда мы были, самым богатым человеком две недели был?

— Нет. Да что ты? Что-ж не расскажешь-то. Расскажи, обязательно, расскажи!

— Ну, так слушай. Подробно распишу. Значит, везут нас в эшалоне с Донской земли на Западный фронт. А Гаморкин, когда был захвачен в Новоросейском, попал при расчете в пулеметную команду при дивизионе. Собственно, у него было две должности: дивизионного каптенармуса и пулеметного писаря. Едут они в одном вагоне — начальник пулеметной команды, начпульком, по болшевицки, помощник его, и третий с ними — Иван Ильич. Дверцы их теплушки отворены в разные стороны, на полу люисы на треногах стоят. Как понимаешь, — едут всего три человека на всю теплушку.

А нас? И кони и люди — понапхато. И спустилась над нашим ползущим эшалоном ночь. Улеглись мы спать. Казаки посередке, как известно, тут же за доской, свешивая над ними головы, шумно дышут кони, бьют копытами в досчатый пол, — застоялись. Изредка кто прикрикнет на четвероногого задиру сонным голосом.

— Кыш, черт! Стаи, сатана!

Я киваю головой. Вот они картины-то. Будто все это вчера было: вагон... кони... фырканье... храп... ночная темь... и прочие такое. И колесы: тук-так, тук-так!

— И опять тишина, — продолжает Петухой, — прерываемая, только стуком колес, хрустом сена, храпом спящих, вздохами подрагивающих кожей и дремлющих, коней. Конь — стоя, казак — вверх пузом, или крендельком с папахой под щекою. Спит Начпульком, спит и помощник, спит и дивизионный каптенармус и пулеметный писарь Гаморкин, Двадцать Первой Советской Дивизии.

Он мне рассказывал какие ему в ту ночь сны виделись.

— Вижу я кошку о шести хвостах и о трех головах. Одна голова в фате, другая в короне, а третья в папахе. Корона видать-то тяжелая, вся в золоте и в самоцветных каменьях. И все эти три головы мне низко кланяются, шестью хвостами виляют и спрашивают: „Спишь ли ты крепко, Ильич, или придремываешь, храпом сон подзываешь? Спишь ли ты, казак Гаморкин? Встал бы ты да помог бы нам".

— Отстаньте, говорю, какого вам лешего от меня надо? Сплю я и крепко даже! Второй сон вижу. Как с Дона меня вывезли — так и не просыпался бы я. А зачем, всетаки, я вам?

— А не видишь разве? Ослеп что ли?

Смотрю — торчат из земли три былиночки: одна белая, другая черная, а третья — бурмалинового цвета.

— Что-ж, — вижу! Растет некая чудноватая трава, вроде пырея.

— Пырей это не пырей, а вот ты выдерни-ка, да нам поднеси. Каждой голове свой цвет припадает. Мне — в короне — черная, ей, в фате, невесте непорочной, но с дурны-

ми наклонностями — белая, а ей в папахе — бурмалинового цвета былиночка. Кому что попадет, тот с тем и станется.

Дернул я белую, — на конце череп и дыра у него во лбу.

Дернул черную, — крест серебрянный, такой, как попы носят на цепочке.

А хватился за бурмалиновую былиночку — тяжелая она, ох же и тяжелая, а и меня уже интерес взял, — что такое выдернется?

А голова в фате, которой череп достался, лапой свой приз оттолкнула и на меня кричит:

— Стой, не тяни! Ты еще не дорос до своего жребия, ты еще дикарь.

— Я?

— Ты.

— Ах ты, кошачье отродье. Жалко, что вы срослись только, а то бы я вам задал!

Разозлился Иван Ильич и взял он, Евграфыч, и во сне-то и открутил две лишних головы, стала кошка, как кошка, но только вся взъерошилась, да на него же и прыг. Тут он и проснулся.

— Проснулся, говорит Гаморкин, и в удивление великое пришел.

Было нас в теплушке трое, а стало — человек семьдесят. А это, что же оказывается? — мешечники ночью видят двери отворены, да и напхались полный вагон с чувалами разными и казанами.

А в мешках-то, в чувалах, в казанах — мука: и Гирька, и Кубанка, и разные там крупчатки, и семечки, и масло, и что самое главное — соль. Не соль, а золото. Белая, мягкая, во рту тает, язык ест. Покушаешь ее, — три

дня пьешь, напиться не можешь. Што за соль? Пока Иван Ильича спал и сон свой про кошек видывал и иные знаменательные видения, понапхали это все мужички в вагон; Дон и Кубань — дочиста обнесли. А сами ворами казаков называли, разбойниками и сарынью окрестили. А вышло, — далеко нам до них. Уж на что соль и ту крали, да еще и между собой поделить не могли, дрались до смерти.

Пока, значит, они усаживались поудобней, поваляв люисы, устанавливались, кто-то там из Петюх или Симох, казака Гаморкина и разбудил. Вскочил он, да как заорет:

— Рррр-уби-и их, таких-сяких, немазаных! Гей-гей-гей! Хватай шашки, стреляй в кого попало. На смерть, в кровь забивай беспощадно! На военный эшалон нападение. Рруби-и!

Темно, ничего не видно.

Кто что. Кто где. А Гаморкин, знай кричит. Голос-то, дай Господи, — не обижен он им. Кричит, прямо жутко становится.

— Взво-о-од, в помещении пааа-чка-ами пааа-льба... пли!

Начали тут они прыгать на полном ходу с поезда и на одну, и на другую сторону, — только бы голову унести! Какие спать укладывались, онучи размотали, портянки вытрусили, лапотки один в другой встрекнули, — так все всё позабывали, сперепугу. Сыпятся из теплушки как пшено из рваного мешка. А поезд наш под горку, прет во все лопатки, настрачивает.

— Гу-гу-гууу! — гудёть паровоз — гууу!

Едут Донские казаки-полонянники на Западный фронт.

Ночью так: У-у-у-уууу!

Разбогател в такую ночь Иван Ильич Гаморкин. Сдвинул он мешки в угол и лег на них спать. Начпульком со своим помощником тоже со страху выпрыгнули в общей сумато-хе. Известное дело, — не казаки.

Утром Гаморкин доложил кому следует.

„Отбил в ночное нападение наши люисы обратно. Командир и помощник пропали без вести! Враг так пятки намылил, что даже обувь национальную свою покидал. Что прикажете?"

Дали пулеметчикам временного командира, покуда нас старый уже на фронте не догнал. А помощник так где-то и затерялся среди подзолов. Молодец, верной смерти избег. Зарубили мы Начпулькома, когда к полякам переходили. Царство ему... Г-м, г-м...

Петухой остановился и на меня взглянул. Я смеялся во весь рот.

— А здорово это, Ильич.

— Да что и говорить! Самым богатым человеком был в Триэсэрии. И мы, конечно, все с ним. Две недели как сыры в масле катались. Все у нас было. А особенно соль — самая ходкая валюта. На полстаканчика. Вот какой случай был с Иваном Ильичом.

. . . .

Чем дольше мы жили неразлучно с Петухоем, тем сильнее роднились наши души. Мы как бы внедрялись друг в друга, вростались тело в тело, пускали мощные корни и, хоть, до этого наши казачьи сердца и бились за одно, теперь мы и мыслить стали одинаково, заполняя и дополняя самими собой друг

друга. И над столь крепкой и содержательной дружбой нашей, безраздельно невидимо царствовал знаменитый Иван Ильич Гаморкин.

Мы не только в повседневной жизни нашей восклицали:

— Так бы сделал Иван Ильич, или — он обязательно высказался бы так, мы, припоминая вместе проведенное время, передавали в точности гримасы, жесты и позы, которых, кстати сказать, у него было неисчислимое множество и которые он любил; даже ночью мы видали его во сне и поутру делились сновидениями.

Как я уже сказал, я не скрыл от Петухоя, что записываю о этой пресветлой и удивительной личности, и часто, читая записки Петухою, слышал от него восторженные вскрикивания и аханье.

— Ну, чёрти, что! Верно. Все, как наяву.

Ободряемый наивным своим слушателем, я яростно начинал вращать глазами, т. е. глазом, опускал свой голос до шепота и, читая, задыхался в особенно важных местах и даже кричал, пересказывая тот или иной эпизод. Доходя до казачьих песен, начинал их распевать и так увлекался тем, что писала когда-то моя рука, что сам казалось, растягивался в чернильные строчки, качался со своими кривыми буквами, переживал вторично и свое отрочество и свою молодость, да и всю жизнь.

Иван Ильич, этот изумительнейший казак, обладал тысячу и одним недостатком, были у него разнообразнейшие пороки, но, как казаку, ему были свойственны благие порывы, благороднейшие чувства, теперь столь редко встречающиеся.

Он был некоторым, если можно так выразиться, искателем.

Его душа никогда не успокаивалась. Он не только был историком, идейнейшим казаком, но отчасти и философом.

— Я, — говорил он, — родился. Кто скажет, что я вру?

И на гробовое молчание добавлял:

— И я знаю, — тут он подавался вперед и, налезая на слушателей казаков бодающим козлом и топыря палец, гудел, — знаю, что рано или поздно я... умру. Знаю!

Мы кивали головами.

— Так вот я и говорю. Промеж этого и к этому еще тот плюс у меня есть, которого забыть при всяких желаниях невозможно, это то, что я — казак. Ну-ка, напиши кто нибудь палочкой.

Кто нибудь на земле пишет палочкой „Казак“.

— Теперь читай с конца, наоборот.

Кто-нибудь читает:

„казаК“.

— Вот тут-то и собака зарыта! Поняли?

И все мы читаем снова и снова, с конца и сначала.

— Да, — соглашаемся, — как не крути, как не верти, а через это не перешагнешь.

И несложная философия Гаморкина о сущности человека-казака, о его мировом бытие, всегда поражала нас больше всяких научных книг. Это был самородок и философия его была самородная, донская.

Гаморкинская философия.

Собственно тут бы книгу следовало написать, а не сии недоуменные и малопонятные

записки, в которых понадергано всякой всячины, да я бы написал бы и в систему ввелбы, если-б не препятствие своего рода, — сызмальства меня к этому не приучили.

Ведь запиши я со слов Гаморкина одну только историю нашего родного Войска в рассказах Ивана Ильича, так у всех волосы дыбом стали бы от зависти к казакам, от зависти меня бы и распяли на первом дереве. Что же оказывается: дед, например, Гаморкина говорил (о русском, не пишу) по-татарски, по-турецки, по-армянски, по-азейберджански, по-грузински, по-украински и по... итальянски.

Последнему обстоятельству помогла та часть итальянской крови, которая потекла в жилах у Гаморкиных от Асейдоры Стелопонтовны. А сам-то Ильич только Казачий язык и знал.

Скажут, пожалуй, какое это отношение имеет к истории? Огромное! Дед этот пошел в Индийский поход при Павле I-ом. А, получив приказ вернуться, — вернуться не захотел. Вот как повествует об этом Ильич:

Завляет мой дед, Походному Атаману:

— Почему, столько народу и коней уложили, а вспять поворачиваем?

— Все Войско шло в Индию, потому что был отдан приказ.

— Знаем.

— А теперь назад, потому что тоже был отдан приказ.

— Приказ, и приказ. Ну, а я другой человек.

— Как другой? — удивился Платов.

— Приказ приказом (и что-то еще добавил мой дед на армянском и грузинском язы-

ке сразу), помимо же приказа я сам распалился завоевать Индию и не могу и распалиться. Столько перетерпел из-за нее.

— Что ты, станичник, — уговаривал деда Походный Атаман — окстись.

— Окститься нечего. А я уже казаков сабе подобрал и назад нам пути нет. Нас только тогда и удержите пока всех перебьете. Казак, — или вперед, или... вниз — дед показал пальцем на землю.

На том и разошлись.

Казаки, утомленные от несостоявшегося похода, повернули похудевших коней своих назад, а Гаморкин, как человек, говорящий на всех языках, распросил у татар путь к Индии и... завоевал ее.

За дальностью расстояния никто про это и не узнал.

Если бы я посмел усомниться в правоте этих слов, Ильич пришел бы в бешенство. Однажды, во время этого рассказа его перебил Тарас, казак со светлыми, грустными, во все верящими, глазами, перебил робко и... получился конфуз.

— Что-о? — закричал Гаморкин. — Да, дед мой в Индию пришел. Шли они сорок дней и сорок ночей; всю страну завоевали, всех покорили, и стал он там Окружным Атаманом, а страна стала называться Индийским Казачьим Округом и... вся недолга!

— А Англия, — шептал Тарас, который всему всегда верил.

— Что-ж Англия? Англией была, Англией и осталась. Что с ней сделалось и при чем тут она?

— Так она-ж владеет Индией.

— Где владеет? Ты видал?

— Не-е! Слыхал.

— Слухом земля полнится, да не всякому слуху верь! Следовательно, и встревать табе бы не следовало.

Да-а, братцы вы мои, как засел он там Окружным Атаманом — ни пройти табе, ни проехать. Те, которые раньше поперек ездили, стали кругом объезжать, — нагнал он страх и трепет.

Хорошо там жили, да и сейчас живуть просторно. Не то, что мы. (Мы в это время жили под большевиками. Дело было перед апрельским восстанием, несколько месяцев спустя, после смерти Каледина).

— Все дороги туда заросли травой и колючками, только ограда эта не для казаков. Если казак подойдет, станет смирно и скажет громко:

„Я казак такого-то Войска, такой-то станицы, — примите меня к сабе, в Гаморкина деда страну".

Откроется перед ним дорожка светлая, а на конце ея — конь стоит. Сбруя на нем золотом горит, седельце мягкое, шелковые повода, серебрянные стремена. Сядет новый пришелец верхом и начнет совершать променад-прогулочку до главного городка. А живуть там казаки припеваючи. Дивчата — огни нетушимые, вина — чудеса упиваемые, хлеба — вышиной с подсолнухи, а земля... Земля, — хоть в подушку набей, хоть в рот насей. Сама, что хлеб — жевать можно. Ну, пух, чистый пух. Сто десятин на двух.

Фу-у-у, братцы вы мои станичники, и поехал бы я туды, ежели бы не мои дялы!

— А какие же у тебя дялы?

— Как какие? На кого же я хозяйство свое покину? А Дон из под супостатов кто освободит, ежели не мы? Ежели мы возьмем, да все и разъедемся, — вот так здорово получится. К тому же сейчас туда рыпаться совсем не срок. Поеду я в ту чисто казачью страну, покажу дорожку и за мной все крестьяне с мешочками за продовольствием попрутся. Лучше сидеть и никому не показывать ее. А в своей компании, отчего не помечтать? Кто нынче не мечтает? Жизнь ведь у нас. Жизнь.

. . . .

Если прохожу мимо книжного магазина, зажмуриваюсь, и отворачиваюсь. Книг бы мне лучше и не видать вовсе. Скажу от чистого сердца, я немного боюсь печатного слова. Мало ли что?

А может быть сознаться себе не хочу, что рабею перед будущим. В будущем книжица моя об Иване Ильиче. Как-то она пройдет? Страшно!

Выйдет, скажем, она на белый свет, да такая неказистая, неразборчивая, не важная, хоть все это и важно. Выйдет. И я на улицу выползу испытать известность свою и узнать, как к Гаморкину народ отнесся. Заверну для первого раза в библиотеку какую нибудь. Спрошу, положим, это, если зайду, предположим:

— Есть у вас, станичник-библиотекарь, книжка одна тут?

— Есть у нас книг много и все разные. Номер ваш?

— Так она без номера.

— Без номера мы книг не держим. Это вам, станичник, не книжная лавочка, и не склад Сытина. Это вы в магазине поищите. А какую, все-ж таки, вам?

— О Гаморкине, природном казаке.

Скажу и закраснеюсь чисто мак.

— О Гаморкине? Такой не имеем и не знаем даже такой. Ни в каком каталоге не прописано. Кто же писатель-то?

— Писатель — Кудрявов, Кондрат Евграфыч.

— Нет, скажут, ни книжки такой, ни писателя не слыхивали. Разных раскопать можем, а такого — не найдем. Жив он?

— Как же, жив.

— А какой из себя?

— Да такой! Как и все люди — ничего себе. Обыкновенно какой. Прощенья просим.

— Досвидания.

Н-да. Или так случится — селедку неожиданно в лавочке завернут. Я, можно сказать, писал, писал, старался, старался, а тут... селедку. Книжкой-то. В лист, как в простыню.

Или какой нибудь умник на будущую книжку мою критику наведет.

„Все это сплошная брехня! Не верьте, люди православные. Автору за такое — дышлов в рот“!

Пожелание, как сами, станичники, видите не из приятных. Печатное же слово у всех к себе интерес вызывает: одни на цыгарку, другие на подтопку, третьи... так еще похуже, но я все же на критику ответить могу. Просто так. Вопросиками.

— Есть река Дон? А есть у этой реки запольные речушки и иные? А есть речушка Кагальник, где Степана Тимофеевича Разина лагерь стоял? Кагальник, что бежит себе на солнышке переливается, туда сюда завивается, по степи змейкой поворачивается? Змеей-желтобрюшком.

Так я такого спрошу и тот ответит:

— Есть.

— Ну, а если есть, так живет и казак сей — Иван Ильич Гаморкин. Забожусь, как Михаил Александрович Петухой.

Неужели же никто моему свидетельству не поверит.

Ксе это так, а вот печатное слово — опасное дело!

— Что написано пером, — не вырубишь топором. Напечатали и — крышка. Хоть ложись тогда и помирай.

Верьте, станичники, — в том, что книжка сия на свет родилась не я виной, а Гаморкин. Опять же — жену и детей его не трогайте, он один в своем роде, жена же — благоприобретенное! И выходит, что я не причем. Что я так себе, выходит, сбоку-припеку. Записал и отпечатал — в чем же моя вина? Нет ее — не вижу. Он — знаменит! Иван Ильич Гаморкин! Не казак, а казарлюга, ему и черт не брат, он на мотив Пугачева или Разина был. А что я? Я — в сентябре родился. А в сентябре, как известно, одна ягода, — да и та — горькая рябина.

Гаморкин совсем другой человек. Он удивительный казак.

Какие он загадки загадывал, если бы вы

знали, — куды там армянские или персидские, гаморкинские загадки — казачьи.

„Не давай свободу чужому народу“. Кто?

Или вот:

„Руками машет, под балалайку пляшет“.

„Дашь пятак, возьмешь четвертак“. Кто?

„Один работает и трудится, а другой тоскует да нудится“.

А пословицы, пословицы. Где-то он набрал уйму целую?

Вспоминает, а я записываю.

„Затупится на шеях казачьих топор — не хватит и веревок“.

„На казачьи хлеба, есть по двадцать едока“.

„За гриву не удержался, — за хвост не удержишься“.

„Супротив мужичков, есть казак Кузьма Крючков“.

„Слопали казака, а папаху-то и не угрызут

„Казак от роду метится, хоть с чертями встретиться“.

„Хоть папаха черна, да душа светла“.

„Не рассказывай казаку ты Азовские вести“.

„В Чиру топиться, что ниткой давиться“.

„Не гордись казак породой, а гордись огородой“.

„Не тот казак, что жив остался, а тот, что за волю на веревке болтался“.

„Не тянись за булавой, — расстанешься с головой“.

„Казачья баба, что еж — ее каблуком, а она торчком“.

„Стал я как птица, — прощай станица!“

„Жив Тараска из города Черкасска".

„Бог не без милости, казак не без счастья"

„Терпи казак — Атаманом будешь".

„Казак, если с собой не унесет, так разобьет".

„Слава казачья, да жизнь собачья".

„Пришли казаки с Дону, погнали ляхов до дому".

„Здравствуй Царь в белокаменной Москве а мы, казаки, на Тихом Дону".

И много, много других. Я записывал, а Ильич мне все это припоминал, и казалось ему и мне, что все уже записано, что нет ни одной пословицы или поговорки, какую бы мы не занесли. Ан, вдруг, что же оказалось? — целый ряд мы и не заприметили. Да как вспомнили-то их, как вспомнили? Восстановили можно сказать до-разу.

Ивана Ильича чуть не ранили. Спасибо пуля под мышкой проскользнула и пошла гулять дальше. Случилось это так.

Заскочили мы по восстании всех казаков в станцию Лихую. Нас было пять человек, красных — десять. Они нас стрелять. Застрелили три человека, осталось нас только двое — я да Иван Ильич. Командир, курносый такой блондинчик, видя победу сию над Казачеством, от радости геройски так вежливо кричит:

— Дави их гадов, казачью требуху. Уголь даешь? Донецкую бассейну даешь? Хлеб даешь? Бей, кричит, двое только и осталось!..

— Врешь, — заревел Гаморкин, — двое, да подавишься. Есть еще порох в пороховницах!... — да ко мне:

— Запиши, кум, еще пословицу вспомнил.

Тут ему пуля, значит, подмышку сусликом — шмых!... Осерчал тут совсем Иван Ильич, перевернул ружьецо свое и пошел махать направо и налево, пошел он их бить по головам. Сам бьет, а мне кричит:

— Пиши, пиши так их так, сяких-таких, пиши, кум, для потомства записывай!

„Держись, Ваньки и Малафеи, — святым кулаком, да по окаянной шеи“.

Он бьет, а я записываю.

„За Дом Пресвятые Богородицы, — видать дрянь не переводится“.

Он бьет, а я записываю.

„Не лезь, пока не задираю, а то как семечки пощелкаю“.

Он бьет, а я записываю.

„Помолись, да и в гроб ложись“.

Он бьет, а я записываю.

„Птичка Божия не знает ни заб...“

— Эй, кум, — остановился Ильич, — записал последнее?

— Занес, — говорю.

— Это не поговорка, а так...

Вытер Ильич пот со лба, оглянулся — семерых изничтожил он, трое же убежало.

— Пушшай живут, — сказал Гаморкин, — пушшай. А ты все отметил, что я тебе говорил? Ну, так заприметь последнюю, я сейчас вспомнил, подходит к настоящему моменту:

„Оттого казак и гладок, что поел, да и на бок“.

. . . .

Во время уже планомерной борьбы за Казачье имя, пришел раз Гаморкин к своему командиру сотни со странной просьбой:

— Разрешите, господин есаул, с политическим комиссаром, что вчера поймали, поговорить. Слыхал я, что хотят его завтра расстрелять, так я хочу повидать его перед его смертью.

— Да что ты, Ильич, зачем тебе?

— Хочу я с ним о большевизме поговорить, про коммуну спросить.

Офицер долго молча смотрел на Гаморкина. Он не мог понять желание казака.

— Чудишь ты, Гаморкин.

— Так что, никак нет. Говорят станичники, что он убежденнейший такой и человек, якобы, с мозгой. Дозвольте перед расстрелом с ним словцом переброситься, он один сейчас сидит.

— Нельзя, старина. О чем с ним разговаривать. За это, пожалуй, и нагореть может, что я разрешаю такие вещи.

Есаул, станичник Ивана Ильича, прошелся по хате, ероша волосы. То, что хотелось Гаморкину, казалось ему диким и необычайным.

— Да вы не бойтесь, — говорил Иван Ильич, большевиком я не стану. У меня, слава Богу, своя голова на плечах есть.

Он потрогал правый ус и опять серьезно взглянул в глаза офицеру. Тот еще колебался.

— Да зачем?

— А затем, што хочу я от него самую суть услыхать, истину истинную их. За што и почему они на нас. Чего хотять?

Есаул нервно сжал пальцами мундштук Асмоловской папиросы и сделал несколько шагов к казаку.

— Придешь тогда ко мне, скажешь как на духу все, что будет?

— Скажу, Александра Ляксандрыч.

— Иди.

Гаморкин повернулся. Ноги, обутые в просторные походные сапоги, понесли его полное тело к дверям.

В камере Иван Ильич пробыл четыре часа.

Когда на зоре уводили на расстрел коммуниста, тот шел как-то странно, спотыкаясь и опустив голову.

У командира сотни сидел Иван Ильич. Пробрался туда и я.

Гаморкин говорил:

— Давно я их понял и... оценил. Товар мало стоющий, т. е. цена на нем стоит большая, а если купишь его за эту цену — товар выйдет дорогонький. Совсем своей цены не стоит. Дрянь одна.

„Человек — частица целого. Вся жизнь человека этого — коллективу и Человечеству. Мир всему миру и весь хлеб трудящемуся. Свобода, равенство и братство. Общее благо — цель жизни. Смерть за это ничто, не страшны ни пули, ни петля, ни тюрьма“.

Это он говорил мне.

И стал я ему отвечать и спрашивать его попорядку.

— Человек часть целого, — Человечества; это, говорю, понятно и правильно. Ну, а человечество делится на что нибудь?

— Делится, отвечает, на рабочих и буржуев.

— Постой, постой, говорю, не по ремеслу, а по цвету кожи, по душе, по вере, по языку?

— Делится.

— Значит, человечество делится на ряд своего рода маленьких человечеств: чернокожие, краснокожие, и дальше, — на немцев, французов, англичан, казаков и других.

— Не должно.

— А делится?

— Ну, делится.

— А вы хотите все в одну кучу смешать, интернационалу направить?

— Хотим.

— Чтобы все в общей яме перемешались и под вашу власть подошли? Не жирно-ль, товарищ? Иде же тут свобода? А я, скажем, к примеру, не хочу мешаться с другими, потому, что я — каптенармус и природный донской казак.

— Долой, отвечает, индивидуализму. Даешь коллектив?

— Верно, соглашаюсь я, общество — вещь хорошая. Вещь приятная. И мы, казаки, искони обществом своим живем, а только если одно общество да другому обществу на шею лезет и удила под язык кладет, — это не так, чтобы очень здорово было. А еще хуже, когда общество все, в полном составе, да одному человеку на голову сядет, да придавит его так, что ни вздохнуть, ни пискнуть ему, так, что он, ровно, душу свою потеряет. Ни покою тогда ему, ни жизни. Тогда как?

— А так. Должно быть Царствие Божие на земле. А ты, товарищ, трудовой казак, слушай, что я тебе скажу: Исус Христос был первым коммунистом на нашей земле.

Прости меня, ваше благородие, Александра Александрович, господин мой есаул, не стерпел я, да его немного табуреткой по го-

лове стукнул за такие похабные слова. После этого он иначе заговорил.

— Слушай ты, коммунист московский, Он, Иисус Христос, прежде всего Отца своего слушал, а вы никого не слушаете. И ничего святого у вас нет.

— У нас весь мир.

— А у меня — Дон.

— Что значит твой Дон?

— Как, спрашиваю, похолодев я, что Дон? — и опять его табуреткой.

Ну, как же тут, разве удержишься? Што же это он такое говорит мне.

Что твой Дон? Сукин сын, проклятый!

— Ты, говорю, так, мать твою за ногу, Дона Ивановича оскорблять? Да я на нем живу, он мне славу свою дал, он меня кормит. Мой курень здесь стоит, а в курене жана сидит, Настасья Петровна и Нюнька, и Ѳомка. А Войско наше — Всевеликое?

— Это, отвечает он тихим голосом, предрассудки. Этого быть не должно.

Ну, думаю, человек либо съума сошел, либо смеется надо мной.

— Как же, спрашиваю, не должно быть. А есть же?

— Есть-то может и есть. А не должно быть.

— А как же? — спрашиваю.

— Должно быть так: все люди равны и братья. Хозяйств нет, семьи нет...

— А что-ж я буду тогда делать?

— Трудиться...

— Это я и сейчас делаю ради жаны и детей своих. А тогда-то для чего, и для кого?

— Для коллектива.

— А Коллектив?

— Он для тебя.

— А что он для меня?

— Все, — дом, семья, вера и все удобства.

— Вот чудак. Ну, а если это все у меня уже есть и без коллектива?

— У других нет.

— Так чем же они думают, и почему у них нет?

— Они в кабале у капитализма.

— К что такое „кабала"?

— Плен.

— Плен? Так чего же они не освободятся?

— Освободились вот.

— Так, так. Значит, говоришь, освободились. А теперь что же? Других хотят в плен засадить.

Он мне ничего не ответил и мы помолчали с минуту.

— А что это — Мировая Революция?

— Социальный переворот во всех странах, объединение пролетариата.

— А если я не пролетариат?

Комиссар пожал плечами.

— Ага, закричал я, так вы вот что, оказывается. Были генералы, а вы хотите понаделать пролетареалов, были помещики, а вы хотите — пролетарещиков? Не-ет, товарищ, вам этот номер не пройдет. Зарубите себе на носу. Казаки не хотят ни тех, ни других. И вообще нам иностранцев не надобно. Они у нас в печенках сидят. То монархией, то коммуной пугають. К чему нам? Теперь казак понял,

что нам все это не к чему. Мы — сами Казачий народ, у нас свои запросы и свои чаяния. Чего хотите, то у себя и устраивайте. Баб на коллектив берите, друг на друга работайте, а мы — сами по сабе. Мою Петровну ото всех баб отличить можно, — идеть она, — ровно плыветь и глаза у ней карии, как блюдечки величиною. И курень свой я сам глиной обмазал и в нем обсидел все места. Другим не сидеть. Пока жив. А насчет коллективу, — так у нас он есть, и в нем мы не нуждаемся. И земля у нас общая. Если вы у себя порядки новые заводите, — геть в губернию, там и грызитесь на здоровье, пока друг друга не слопаете. Там и организуйте, что вам надо. А мы другие люди. Другое человечество. Понял? Нам вашей жертвенности и не надо. Мы — казаки. У нас головы на месте, свой труд каждый сполняет, а вы — от безделья придумали себе занятие — мировую революцию устраивать и лезете со своими мечтами к нам. Сразу видно, что делать дома нечего. А чтобы вам жрать — о труде песни другим поете — пускай де на нас стараются. Вот ты — чего полез на Дон воевать? За бассейну? А мне бассейна не нужна?

Встал он тут и говорит:

— За идею!

— Так идея-то твоя?

— Моя, отвечает, она у меня вот тут-во. В сердце.

— Добро. Ну и пускай там сидит. Так чего же ты ко мне-то с ней лезешь?

— Как чего?

— А так! Мне она не нужна и все тут.

— Как не нужна?

— А так. Не нужна-с!
— Так ты, значит, буржуй.
— Мы, все так.
— Все — буржуи.
Тут я опять не стерпел.
— Ты чего, говорю, дряное слово на меня натягаешь. Запомни, кто перед тобой — не монархист, не сицилист, не режпубликанец, и вообще не какая иная русская разновидность, и не буржуй, а казак, гражданин непорочной Казачьей станицы. Державы Всевеликого Войска Донского.
— Офицерья слуга.
— Я, прежде всего, — сабе слуга. Сабе служу.
— Ну, тогда националист.
— Ах, ты, — вскипел я, — опять ругаться? Ешо ругаться?
И табуретом, табуретом. Он развернулся и столом меня. Подрались трошки. Потом передохнули.
— Ох, говорю, послушай ты, мил-человек, не зли ты меня.
Молчит.
— А в Бога ты веруешь?
— Нет.
— А „Отче наш“ знаешь?
— Знал, да забыл.
— Какой же ты после этого народ-Богоносец.
— Я — матрос.
— Ты прежде всего — молокосос...
Повернулся я и ушел. Есаул дослушал.
— Все это хорошо, только утром его почти несли. Кто же так доказывает, Гаморкин?

Иван Ильич растегнул рубашку, на груди был здоровенный синячище.

— Вот, Александра Ляксандрыч. Это он мне на память. А только, если бы мы были вооруженные, дрались бы до смерти. Ну, как тут не обидно, — кричит о человечестве. А ты же ему человеческим языком объясняешь, — не хочу, мол, твоего попечения. Не понимает человеческого языка. Прислушался к каким-то пролетариям и хочет, чтобы и все, как те, пролетели. Хочет, чтобы все голодранцами гуляли. У самого-то дуля в кармане. Да мой лампас такого сраму не потерпить, побелеет от стыда, и от штанины отскочит сам собою.

Мы им, господин есаул, веками всю Россеюшку собирали, а они в один день все просадили, — ну, так пускай же впредь сами стараются, а казак им больше не слуга, не защитник, не соотечественник, и не знакомый даже. Это не соотечество, ежели крестьянин целится штыком в казачий глаз, чтобы мозги пощекотать. Далеко не соотечество. Хай им черт.

. . . .

И вот здесь, заграницей опять промелькнул перед моими глазами образ, тень, так сказать, без вести пропавшего дорогого учителя и кума моего — Гаморкина. Мы ведь живем поближе к окраине и совсем недалеко от железной дороги.

Проходил по этой дороге почтовый поезд, да и остановился как-то неестественно, по-чудному. Паровоз — рылом в канаву, колесами во все стороны. Как известно, по па-

ханному не побежишь, то и произошло, в некотором роде, небольшое крушение. Вагонов штук пять под откос свалилось и человечков штук восемьдесят на тот свет отправилось, не успев даже почесаться. Прибежал и я помогать из-под барахла разного народ за ноги вытаскивать и, только ухватился за одного, гляжу, — писем масса валяется и под ногами у меня одно, страсть как измазанное. Поднял я его из промежду рельс, хотел передать кому, или опять в почтовый ящик сунуть, но вместо этого, побледнел и содрогнулся, — в пот меня вдарило. Почерк-то, почерк на нем, на конверте, нашенский. Известной мне Гаморкинской станицы, — вкось и вкривь. Самый точный почерк, надо вам сказать, был у Ивана Ильича. Ноги даже у меня ослабли от неожиданности и понес я это письмо к себе. распечатал, — он Иван Ильич пишет. Ох, ты-ж, Господи! Откуда и куда? На анкету о Казачестве отзывается. Да как же, — историк ведь. Да так складно пишет. Прочитал я раз, — ничего не понял, другой — опять ничего не понял, а как третий раз прочел, — расплакался. Вся-то тут, в его письме, душенька сказалась. Сперва я не понял, — ну, так „чужая душа — потемки“, а потом — все во мне перевернулось, кровью залилось, затрепыхало и такое в душе пошло, что выпил я жбан холодной водицы, а успокоиться не могу. Не могу успокоиться, читаю и от волнения руки прыгают.

Побежал я к соседу своему, полковнику нашему, Кузьме Ивановичу.

— Так, говорю, и так. Сейчас же посылайте эту статью в Казачий Союз.

А он книгу мне протягивает, ничего себе, увесистая, толстенная и в белой обложке, а на обложке черным по белому: „Казачество“.

— Прием закрыт. Будя. Твой Гаморкин запоздал. Восемьдесят знаменитых человек высказалось и будет.

— Так это-ж — Гаморкин.

— Все! Закрыт прием.

Пошел я от него и в голове у меня помутилось. Опоздали мы с Иваном Ильичем. Может самостоятельно выступить в виде открытого письма? По модному. Страшно. Один в поле — не воин. Сила соломинку ломит.

Но, все-ж: лучше поздно, чем никогда. Вот, что написал в своем ответе на анкету казак Гаморкин.

В левом углу, значит: кто и что?

Иван Ильич
Гаморкин

казак В. В. Д. не главнокомандующий, не общественный деятель и не „бывший“, а настоящий, во всех смыслах непорочный, хутора, тоже довольвольно приличного. Все это не упоминается потому, что дома жана и дети остались.

Конечно, нас, простых казаков, и не спросють, как так мы мыслим о Казачестве, а только, всетаки, не мешало и мое письмо уважить, так как мне стукнуло сорок восемь годков и казак я завзятый, и везде побывал, и шкура моя казачья в трех местах продырявлена во многие международные войны.

Генералы, оно конечно, генералы, помещики, оно конечно, помещики, и коннозаводчики, ученые и писатели оно, тоже конечно, примечательно и приторжественно, а только, где это самое Казачество, чью судьбу предсказывать будут, оно тоже конечно. Одним словом, — конечно.

И вообще много этих — конечно. Дед мой всегда в таких случаях махал рукою: дескать, пускай говорят. А только, станичники, этого самого, мы до того намахались, что и сейчас остановить наши рученьки с кирками, да мотыками, да лопатами — не можем. До того, стало быть, размахались.

Ну, о прошлом, скажем.

Что-ж о прошлом писать? Прошлое прошло, и дерьмом поросло. В старинку хорошо живали наши деды, пока их к службе не представили. С тех пор, кроме службы, иного ничего и не было. Да и быть, при строгостных порядках, не могло. Все это правда.

А всетаки — куда мы сейчас? Куда бы мы могли ткнуться, если бы захотели? Вот я, например? Кому я нужен? Рассеи? А если она меня не захочет такая вот, какая она теперь. Если она скажет, да и скажет: катись, откуда прикатился. Задним ходом, за-границу.

Конечно, как в этом сознаться? Срам и стыд.

Я, — трудно это самое высказывать, — а к тому говорю, нужны ли мы русскому народу теперь, или после, даже, — это большой вопрос. Может быть эмиграция для будущего, умерла. Будет ли Казачество? Да, пока мы живы, от нашего ума это зависит и от нашего единения. А надежда есть. Я, да ты,

да ты, да я — мы одно. А есть еще люди, так из них совсем ничего не выйдет, потому что сапог ботинку не пара. Так и они. Тут к пояснению скажу: сицилист, большевик, монархист, митрополит, помещик... Когда они договорятся до чего нибудь?

Опять же, — где правда? И если никто не видит, так я вижу.

Вот она правда — погибла старая Россия. Погибла от того, что из разных людей ее лепили: какие подрались, какие расползлись, какие перевелись, но только, нам примера с них не брать. Слава Богу, что мы — казаки. С Россией погибло и служилое Казачество. Родится новое, Вольное Казачество, нас туда может быть и не позовут. Только душа у меня казачья. У нас больше возможности. Если наше родится, так я его пойму, и за ним пойду, а если в России договорятся, — маленькая она будет. Ох, какая маленькая. По причине отсутствия однородного алимента личностей.

А по казачьим делам так:

Если ты казачий интелигент, — так ты и говори то, что казак желает, а не заимствуй у кого нибудь другого. Прислушайся-ка к казаку. Ты — умный, так ты же своему брату, простаку, и послужи.

Хотя иной раз, темный, умней светлого вылезет. А светлый от Казачества и в сторону часто смотрит. Так-то...

А если к тому-ж у табе власть, так ты ее не бойся. Табе она дадена — сымай шашку и рубись.

Не можешь, — какой же ты казак.

Вот и в анкете тоже. Эти самые неказачьи голоса, что на нее заговорят, мы всегда слыхали, а сладко нам жилось? Эх, не могу я складно говорить, когда мине за сердце все щипет. Душа за все вопросы анкетные цепляется, а того не замечает, что уже столько лет висит на веревочке. Но, вот, — крепко мое слово и верно будет сейчас. Кроме себя — никого я вокруг, пока что, не вижу. Правда казачья выходит во мне. Вот тутво, у казачьей моей груди. Может быть правду мою и прострелят, так что-ж — другой через сотни, может, лет, ее поднимет или раскопает, или найдет, а умереть она не может, — Казачья Правда!

И никому ее не отдадим. На-кось, выкуси!

Казаки-то настоящие, может быть по сю пору молчат... Может который прорвется, глядишь — и опять подобрался.

Потому-то эти казаки-молчальники и есть то Казачество, за которое все будут говорить смело и... вдохновенно.

Казачество, милое мое, какое же Ты, выходит, молчаливое дитя.

Слушай-ка, что о тебе скажут:

„Матка у него — Рассеюшка, годков ему сейчас — один год, а в будущем будет — анжынер“.

А все-то и не так, черт меня подери с винцерадой вместе.

А все-то шиворот на выворот выходит.

Когда Казачество рожалось, — никто этого не видал. Чье оно — не знают.

Нечего на мамку-кормилицу указывать, как на мать. Рылом не похожи. Сколько лет

ему, — тоже определить не легко. Может он вперед кормилицы своей родился, да в росте заотстал, благодарючи климатическим или иным там условиям.

А что из него анжынера сделают, так это совсем пустые мечты. Все — случай; может из него псаломщик или тентери-вентери какая получится, а? А может и мировой Владыка?

Статья моя, не в пример грустная, и на всякие размышления наводящая, а все-же, поддам и я жару. Скажем, техника.

Настал XXX век.

Коней — по шапке, нет их больше и не нужны! Казачеству от этого не погибать. Спрошу-ка я тебя, станичник: на ероплане джигитовать можно? Можно. Вертуна там или мертвую петельку. Ха-ха-ха... Так вот, скажем, в станице, у каждого казака на леваде в сарайчике — ероплан, а у меня, как у каптенармуса — два. Выскочит есаул:

— Со-о-отня, за мной!

И тут табе каждый на ероплан, не седлать тебе, ничего: фрр... и полетел. Что главное, — это то, что все видать сверху.

Скажем — пол-Дона, или пол-Кубани.

На границе, скажем, пятнышко. Ниже спустились — пятнище, еще ниже — куча, еще ниже — из кучи штыки и лапти торчат. Сычас же это есаул:

— Со-тня-а!

Ну, и, конечно. Вот и все. Насчет остального прочаго, в другой раз, потому что будущее у нас малина — ври и не оглядайся.

Иван Гаморкин.

На конверте том стояла марка со слоном. А иде тот слон живет, в каких заморских странах обретается, — разве узнаешь. Ищи этого слона. Хоть и не маленький, хоть и издалека его видать, а не ухватишь — ровно ветер в поле...

. . . .

Слег я. Заболел. За мной ухаживает друг мой и Ивана Ильича — Михал Александрович Петухой. Выскочит он на момент, на свою работу, пометет-пометет улицу свою, да и ко мне. Такой огорченный стал. Такой стал серьезный и озабоченный. Во все углы заглядывает, на меня не смотрит, — будто что-то потерял. Аспириной меня кормит, разными перамидонами и еще какой-то жидкостью мутноватого цвета. Может мне и вправду плохо. В больницу не пойду. Что-ж, все под Господом Богом ходим. Он-то все видит. Вышло значит распоряжение — убрать со свету белого казака, Кондрата Евграфовича Кудрявова.

Сейчас же это болезнь в меня, во все дырки и полезла. И там ковыряется и там, ищет в моем теле, — за что бы ей уцепиться, какой инструмент сломать.

Приходил даже ко мне вчера полковник Козьма Иванович.

— Слег? — говорит.

— Слег.

— Что же у тебя болит, Евграфович?

— А все болит! И тут-вот, и тут-вот, и тут-вот.

— Г-м... Печально.

— Очень печально, — соглашаюсь.

Посидел он подле меня часочек. Покурили мы, хоть кашель меня и душит. Петухой в сторону смотрит, нос трет.

— Ему умирать никак нельзя! Он о Гаморкине записывает.

— Что записывает? — переспросил его Козьма Иванович.

— Да это так, — сказал я, — баловство одно! Заметки нестоющие одни.

— Кроме заметок еще есть всякой всячины — лезет Петухой с печальной своей физиономией к полковнику.

— Какой? — спрашивает его Козьма Иванович.

— Разное. Сказки Гаморкина. История, и прочее, тому подобное.

Петухой старается. Вытащил мой сундучек, поднял крышку, вывалил бумаженки на пол этакой кучей. Их так много, что я за голову схватился. Эк сколько наворочено. Чистое удивление. И все это я?

— Когда же ты, Евграфович, успел все записать?

— Сам, говорю, не знаю. Ишь сколько бумаги-то перевел.

Петухой блаженствовал, перебирая мои листочки, и гордо усмехался.

— Он наш списатель... Казачий.

Тут я закашлялся и они меня оставили. Козьма Иванович пообещался еще прийти навестить, а Петухой побежал на свою улицу посмотреть, не насорил ли кто, и не напакостила ли лошадь, ненароком.

Из пекарни мне было видно, а из своего окошка — не видать.

Каморка у нас — подвал. Со стен течет. Этак ладонью провести — воды столько, хоть морду мой.

Ох, грехи-грехи!

За наши грехи, а может еще за что.

Где то ты, друг мой сердечный, Иван Ильич, Настасья Петровна, семья моя и первая моя любовь — Левантина Федоровна (учительница наша хуторская).

Не хотел писать, а вырвалось. А когда-то было-было на ней не женился.

Было это после пятого года, когда я глаз потерял.

Пришли мы к ней свататься: Я и Гаморкин. Сидим все трое.

— Так что, барышня, — говорит Ильич и, ухмыляясь, смотрит на меня, изредка кивая головой в мою сторону, — сей казак непорочной станицы и прекрасного роду-племени.

В окна, как сейчас помню, врывается целыми снопами огненных лучей, солнце. Окна открыты и со степи Донской ветерок подувает. Горячий такой и страственный. Хороший денек.

Учителька опустила голову, слушает Гаморкина, ножку на ножку забросила, покачивает носочком — дразнится. Свежа и прекрасна.

Гляжу, помню это я на нее, глаз не спускаю. Приковала она мой взор этой своей ножкой.

Господи, думаю, ну что ей на чужих хлебах болтаться без толку. Горбом деньги зарабатывать, молодость свою чудесную губить. Полюбила бы меня, перебралась бы ко мне в курень, зажили бы с ней по казачьи в

счастьи великом. Без хлопот и без забот. Господи, думаю, внуши, ей, вразуми. Наставь на путь правильный.

Хороша она была, очень хороша. Волосы каштановые — густые, глаза зеленые — большущии, ресницы черные, к верху концами загибаются — лба достают, а рот... не рот, а скважинка. Этакой малиной на личике пристроился. Висит эта малина и не вянет.

Да ее бы съесть!

Сахар! Да, о чем, бишь, я?

Говорит Гаморкин.

— Он — казак Кудрявов, пай имеет — шестнадцать десятин, да арендных у него шестьдесят четыре, да куренек недавно поставил, да две кухни, зимнюю и летнюю во дворе соорудил, да...

И перечисляя, загибает пальцы на обоих руках, чтобы не сбиться. А она ножку на ножку забросила, покачивает носочком, слушает.

— Богатый он, казак. Глаза нет. Так это в пятом году на усмирение под Бахмут ходили мы с ним. Камнем его кто-то ахнул. И как этот камень ему в мозг не залез — удивительно. Но... родился он с двумя. С двумя родился, барышня. Вот ей-ей, с места мине не сдвинуться, как говорит Петухой, и водой обтекти.

Если же вас повязка смущает, так это совсем напрасно. Ну, и кто теперь не подвязывается? Одним ремнем штаны, скажем...

Левонтина Федоровна поморщилась отчего-то.

— Другие зубы при боли, третьи — нос и... всякие там вещи, все, так сказать, в свое

время. А детки у него могут пойти глазастые. Ежели принять во внимание ваши распрекрасные глаза.

О, Иван Ильич Гаморкин!

Он прямо смаковал все подробности, входя все более и более в роль свата, которую на себя принял, искренно надеясь мне помочь.

— Ну, вот гляньте, барышня, на него. Какой он нескладный. Нос — клювом. А ваш нос, да его нос и выйдет — настоящий непорочный нос. Ни клюв, ни пуговка и ни... башмак. Ну, что, не правду ли я говорю?

У учительницы забегали в глазах искры скрытого смеха, но наружно, она его не показывала.

— Гляньте, — говорил Гаморкин, — рот у него? Это-ж пасть. Тигриная пасть. Таким ртом верблюда съесть, — раз плюнуть. А ваш, ежели, ваш, напоминающий ягодку, — гаргуга.

Тут я посмотрел на Ивана Ильича, с трудом оторвавшись от созерцания Левантины Федоровны. Меня поразило слово — „гаргуга". Слышал я его в первый раз. Да и учительница тоже, так как ея глаза стали внимательными и чуть-чуть грустными. Иван Ильич был красный, надутый и потный. Вытерая платком лоб, он отрывисто кидал:

— А грудь у него. А ноги. А за...

— Довольно, Иван Ильич! — встала при этих словах учительница, будто кто ее шилом уколол невзначай.

— Благодарю за честь. Может я и подстать Кондрату Евграфовичу (поклон в мою сторону), для его будущего потомства, но... я замуж не собираюсь. Хочу пожить молодой.

— А после? — затаив дыхание, помню, спросил я.

— Что после?

— Когда захотиться и вы соберетесь?

— Ха-ха-ха-ха, — засмеялась Левантина Федоровна, — когда мне захочется? Н-не знаю. Там видно будет.

— Да што там, — гудел авторитетно Гаморкин, не обращая внимания на ея жестокие для моего сердца слова. — Што там... Венчайтесь, да и черт с вами. Нечего колотыриться. Вот мы с Настасьей Петровной, то-ли дело... Пошли прогуляться в воскресенье, зашли, ненароком, в церковь свечку поставить, подмигнул я попу, а он — хлоп и обвенчал.

Тут Гаморкин, на свадьбе которого я присутствовал, и как все было знаю, прикусил язык, встретившись с моим взглядом. Но духом не упал, а еще ожесточенней принялся нападать.

— Он пай имеет шестнадцать десятин. Шесть в одном месте, а десять за песками, возля кургана.

— Спасибо, спасибо. Слышала уж. Спасибо, — отступала учительница.

— Верное его слово, — говорил я, прижимая папаху к груди, — верное его слово. И про пай — верно все.

— Да верю я вам. С чего вы взяли, что я не верю. Верю, но... не хочу.

— Не хотишь?

— Нет.

— Так-таки и не хотишь? — недоверчиво переспрашивал Иван Ильич, не веря своим собственным ушам, и уставившись на нее так, будто бы впервые разглядывал и шаловли-

вые завитки каштановых волос, и, как море, зеленые глаза, и розовый подбородок.

— Не хочу.

Она прошла по комнате и подошла к двери. Дверь вела в ее каморку.

Дело происходило в школе. Мы были в классной комнате.

Учительница в нашей хуторской школе была иностранкой, из Тульской губернии.

— Так у него барышня, — вставая и двигаясь за нею, рассказывал Гаморкин, зимняя и летняя кухни. Скажем, летом — жарко у нас, в Донской Области, сейчас вы все кострюльки и сковородки, и лаханки в летнюю кухню из зимней перенесли и пошел у вас на воздухе дым коромыслом-пугачем. Там скварчит, там шипит, там попыхивает. Левантина Федоровна, ей-же-ей. Целый день сабе готовите всякую снедь, никто вам не мешает.

Но учительница, задержавшись на пороге, обернулась к нам и сказала.

— Да вы смеетесь что-ли надо мной? Чего мы будем торговаться даром. Нет и нет. Какие вы, право!

— Нет. Какое же право? Право — у вас все. Одно право только — это ваше! Вы во всем курене хозяйка. А в летней кухне и стиркой заняться можно. Белья у него много. Стирай сабе только, наслаждайся, да вару подбавляй. Ишь, хорошо, знатно. А тут еще, скажем, прибежит к вам посанёнок-сыночек ваш — пол-Левантины, пол-Кондрашки. У него-то: обои глаза, нос непорочный, и рот. Рот не рот, а ягодка...

— „Гаргуга“, — подсказал я и улыбнул-

ся довольный тем, что запомнил сказанное Ильичем летучее слово.

Но вся беда была в том, что Гаморкин про него забыл совсем и теперь, выпучив глаза, смотрел на меня.

— Ка-ак ты сказал?

— „Гаргуга“ — показал я в воздухе рукой. Этакое махонькое, красноватое.

Ильич махнул на меня рукой. Учительница исчезла за дверями.

-- Что это ты? Рехнулся, кум. Ахинею несешь какую. И што ты в самом деле, — поручил сватом быть, а там лезешь наперед. Вот все и испортил. Какая-то „гаргуга“.

Напяливая папаху, Иван Ильич еще бормотал.

— Скажем, летняя кухня. Тут табе разные удобства. Что хошь делай. Жарко ежели, водичкой полилась, разобралась. Всем телом дышишь. А сколько детей можно бы иметь? Была бы охота.

На улице, когда мы шли, — я повесив голову, Гаморкин что-то шепча, — он остановился с криком:

— Дурак я, дурак.

— Что?

— Да я-ж ей ничего про баню не сказал.

— Да, подумал я, может быть что нибудь и вышло бы, вверни баню во время, ну, а теперь уже поздно.

И пошли мы тогда от Левантины Федоровны к Прасковье Васильевне.

. . . .

Болезнь моя все шире и шире развивает свою деятельность. Углубляется. Сознательная болезнь. Не сетую и не грущу.

Перечитал все вчера написанное. Зачем я учительницу нашу вспомнил — не знаю. Сватался к ней, это — верно, а женился на другой. Глаз мой, что выбитый, тому виной. Не захотела она мужа одноглазого иметь. А ведь если так рассудить, — она не права. Пострадал человек. А ты ему жизнь то и украсть.

Пострадал... Да и Иван Ильич тоже пострадал. Да разве я про это нигде еще не записал? В 1905 году и ему досталось при усмирении народа. Спасли мы одного помещика со всем его семейством, с женой Аглаей и детками: Ника, Кока и Гога. Чудные имена, Ты их, Господи, веси. Спасли мы всю семейку от их же богоносных, ищущих правды, святых крестьян и рабочих. Начал этот народ усадьбу со всех сторон подпаливать, а мы — взвод на рысях припылили.

Мы с Иваном Ильичем рядом. Нагайка у него была — страх!

Вырежет он в доске дырочки, вставит в них пятаки медные, и не целясь — ах, концом. Самым кончиком — и выбивает пятаки — один, другой, третий. Подряд. Что за меткость, прямо поразительно. По носу попадет, — нос как пятак.

Бить надо умеючи, замахнулся и руку быстро отдергивай, кончик-то и припечатает. А кончик с кожанным мешочком, а в мешочке — пуговка, либо пуля. Взвод наш к рабочим наперерез.

— Что делаете? — кричит Ильич.

— Поджариваем хозяина своего, — отвечают.

— У него же семья. К тому же он, первейший либерал.

— А хер с ним и с его отродьем. Попили нашей кровушки триста без малого лет.

— Так. Это верно, — согласился было Гаморкин, но услышав приказ взводного и припомнив наставления, закричал опять:

— А ну, разойдись!

— Чаво? Не желам.

— Разз-зойдись!

Ильич пришпорил коня и подлетел к крайнему мужиченку.

— Слышишь ты, харя, табе говорят — разойдись.

Мужиченка разошелся, а из толпы в нас полетели камни, палки и земля. И одним камнем мне в глаз. Света Божьего я не взвидел, заорал диким голосом. Весь мир перевернулся у меня в глазах, шатнулся я в седле и упал головой на переднюю луку, на гриву. Увидели это казаки, увидал Иван Ильич.

— Ка-ак, кума моего? Хуторца нашего?

И пошли они на толпу.

Так, рассказывали потом, прицелится Гаморкин, да нагайкой — ах, и уха не существовало. В зубы — ах, вместо зубов дырочка и из нее кровь со слюной течет. Разогнали в десять минут.

— Опричники! Царские палачи! Нагаечники! Жандармы!

Вот все, что мы получили, оккупировав Россию по приказу ея же самодержца.

Вообще — роковое предзнаменование, — „за грани пошел, беду нашел".

Потом вышел помещик на крыльцо. А дом у него здоровый с белыми колонами, в садах, да в службах, сам помещик, — блед-

ный, в вольной одёже и с ружьем — двухстволкой.

Благодарил, а закусить не предлагает. Человека от верной смерти спасли. Чуть не изжарился, на манер шашлыка. А закусить не приглашает.

Повернул взвод к месту стоянки, а меня с Гаморкиным сотник Захаров оставил глаз промыть и чем есть перевязать. Мы только двое в харомину и зашли.

Тут это барыня Аглая таз приказала принесть, а вокруг меня Ника, Кока и Гога — кадет, прыгают.

Перевязал я себе рану, выхожу в другую комнату, а помещик и Гаморкин — пьяные вдрызг.

Сидят за столом. Когда надрались? Как успели и отчего?

И говорит помещик:

— Верно твое слово, Иван Ильич. Приеду я на Дон, в случае чего, всегда вспомню, что живет там казачий народ, гордый и смелый. Скажем, трахнет Революция — я сейчас барахлишко свое в чемодан, Аглаю, Нику, Коху и Гогу-кадета-пистолета заберу, из них потом хорошие казаки выйдут, да и к вам. Перейду в ваше подданство, а то мне нет спокою вот тут-во.

— Чего-ж, — кивнул головой Гаморкин, — известно — с Дону выдачи нет. Но ты один приезжай — знакомых не зови и не привози.

— Жаль. Есть у меня штук несколько знакомых: жандармский полковник Единонеделимов, Петр Людвигович Демократов 2-ой и граф Утятин, Серж.

Иван Ильич скривил на бок рот.

— Есть и было и у нас своих знакомых достаточно — граф Платов, вихорь-Атаман, великий князь Гаморкин.

— Гаморкин?

— Да-а. Живеть ен ге-еройской жизнью!

— Хороший человек? И много у него земли?

— Земли у него — шестнадцать десятин — пай. Надел, стало быть, 82-ой десяток, пай № 5.

Помещик улыбнулся и ничего не сказал.

— А всетаки, понравился ты мне, казак... (А кому Иван Ильич мог не понравиться?) И хоть есть ты, как говоришь, от России отдельный иностранец, а подарю я тебе Русского Царя, чтобы ты все же его не забывал.

И дал он Ивану Ильичу со стены портрет масляной краской писанный. Огромных размеров. Рама одна пуда два весила. На портрете изображен Царь во весь рост. Даже больше.

Поблагодарили мы его за подарок, вынесли портрет на крыльцо. Гаморкин даже прослезился.

— Ведь этакого-то портрета и в Атаманском дворце нет. Ку-ум, куриная твоя голова. Ты глянь, да ты глянь. Как привезу его, как поставлю у себя в курене, так он же всю стену закроить. На хутор-то его, к Настасье Петровне. Ведь это кому показать? Кому рассказать? Ху-у-у-у! Патретик, так патретик. Цвета-то, цвета. И красный на ленте, и голубой на мундёре. Ии-х! Ии-х! А ордено-ов-то, орденов. Чистая тьма! И крестики, и звездоч-

ки, и медальки, и чего-чего только не понаворочено.

Ильич был как ребенок.

— Вали его, кум, мне на спину.

Сам пьяный, качается и на ногах не стоит. Влез на коня, привязали мы к его спине патрет, попрощались с хозяином.

— Ежели смолить опять будут, в известность поставьте! — сказали и вышли шагом из ворот.

Согнулся Ильич. Рама обвисла и полотно натянулось на гаморкинской спине и голове.

— Эх, — говорит восторженно казак, — поскачем, Евграфыч, поскачем друг сердечный.

Хочется ему скорее во взводе похвастаться, а взвод, надо вам сказать, в двадцати верстах...

Пошли мы рысью, потом наметывать стали. Гудим по дороге, а уже темно.

Слышу что-то замолк Ильич.

Мечтает, думаю. Рад ведь человек, — Царя на себе везет. Да и не до него мне было — глаз у меня болит, ажнак жгёть.

Скачем, все скорей и скорей. долетаем до деревеньки. Вышли казаки нас встречать.

Донес конь Гаморкина, а тот и... не дышет. Пробил дыру в полотне, там, где лицо было, повисла этакая махина у него на шее, свалилась на сторону и сбоку висит.

Известно, — человек пьяный, чуть было не задушился.

И что ужасно — кричать не может. Нет ему свободы слова. Хоть плачь.

Сняли его с седла, освободили от портрета. Сел он на землю и махнул рукой.

— Берите, говорит, его и отнесите крестьянам. Их он. А казаку все равно, что гроб.

Так он не жалеючи и расстался с подарочком.

. . . .

Здесь обрываются записки Кудрявова, Кондрата Евграфовича. Из его бумаг и из записок разных я, Кузьма Иванович, выбрал только этих двадцать пять отрывков и отдал в печать.

Таких отрывков об И. И. Гаморкине было очень много, но все вразбивку, без связи и без хронологии. Мной отобраны пока самые разборчивые. Еще было одно затруднение в том, что одни были написаны простым языком, другие более правильно. Кроме того имеются казачьи сказки, несколько анекдотов и что-то, не поддающееся классификации.

Последний разсказ принес мне казак Саринов, по прозвищу Петухой. Его же рукой, повидимому, была сделана приписка, которую и привожу ниже.

. . . .

„Ничто не вечно под луной!“

Я, казак Донского Войска, и друг Евграфыча и Ильича, сим заявляю:

Евграфыч — казак, родившийся в 1885 году, помер от ослабления и расстройства в легких.

Вечная память и вечный покой!

Ежели вернусь на Дон, то имею при сабе землицы с его могилки — дам жене и деткам.

А казак Гаморкин — жив, но где пребывает неизвестно.

За сим остаюсь в неизменной и в вековечной неразрывной и нерасторжимой связи с сими светлыми Донскими казаками состоящий — младший урядник

Михаил Саринов.

Еще привет при сем Ивану Григорьевичу и Федору Георгиевичу, ежели к ним книга долетит, и Степану Никитичу. А всей моей головой бью челом нашему Войсковому Атаману, — пускай нас скореича на Дон ведет, так как, в противном случае, в напастях, и в холоде, и в голоде, и в изнурительных работах, Войску конец придет и мы все перемрем и запаршивеем...

29 июля 1929 г.
Белград.

Склад издания
Б. А. КУНДРЮЦКОВ
Белград, Драгачевска ул., 15.